

K 1447 940

во



АНАТОЛИЙ ПЕТУХОВ

ЛЮДИ СУЗЁМЬЯ

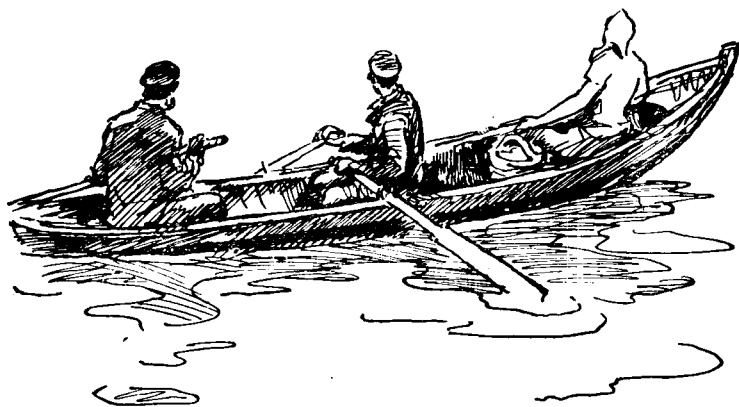
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

АНАТОЛИЙ ПЕТУХОВ



ЛЮДИ СУЗЁМЬЯ

П О В Е С Т Ъ



МОСКВА • ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА • 1975

Р 2
П 31

Художник В. ВЫСОЦКИЙ

Петухов А. В.

П 31 Люди сузёмья. Повесть. Рис. В. Высоцкого.
М., «Дет. лит.», 1975.

207 с. с ил.

Повесть вологодского писателя А. Петухова рассказывает о жителях вепсской деревни, затерявшейся среди лесов и озер, о духовном богатстве, силе и красоте трудового человека, о преемственности поколений в нелегком, но благодатном труде по использованию земли в одном из самых отдаленных уголков северо-запада России.

П $\frac{70803-556}{M101(03)75}$ Без объявл.

Р 2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1975 г.



1

Колхозный грузовик целый час петлял по извилистому проселку в светлых березняках и в густом мелколесье, и вот наконец впереди из-за поворота показались на холме тесовые и шиферные крыши домов. Василий Кирикович разволновался, снял шляпу, протер стекла очков носовым платком.

— Это, Гера, и есть Сарга, — объявил он сыну, — последняя деревня перед Ким-ярь... Отсюда начинается страна Вепсария.

Герман, юноша лет семнадцати, живо обернулся к отцу, спросил:

— И здесь живут чухари?

— Да. Только запомни — еще раз говорю! — не чухари, а вепсы. Вепсы! Чухарь — это по-старому, вроде прозвища...

— Усвоил... Русский язык, надеюсь, они знают?

— Разумеется!..

Василий Кирикович смотрел на деревню и не узнавал ее. Ему помнились серые, приземистые домишки — в одном из них он много раз ночевал в далекие годы юности, когда учился в Чудринском педагогическом училище; помнилось, что слева, на окраине, между сараями и дворами возвышалась выбеленная дождями и солнцем силосная башня. Но теперь ничего этого не было — ни тех домишек, ни сараев, ни башни. Обновленная деревня, выросшая по крайней мере втрое, широко раскинулась по холму. Высокие дома обшиты вагонкой и покрашены, и почти над каждым — телевизионная антенна. На месте силосной башни — длинные скотные дворы, крытые шифером.

Машина пропылила по центральной улице мимо изб с резными наличниками и зарослями черемух в парадниках и остановилась возле почты.

— Сгружай багаж, а я справлюсь, приехали ли за нами, — сказал отец сыну и осторожно спустился на землю.

В просторном помещении почты, со стен которого яркие плакаты призывали подписываться на газеты и журналы, за столиком возле коммутатора сидела чернобровая девушка с коротенькими косичками. Она приветливо улыбнулась Василию Кириковичу, но, выслушав его, помрачнела.

— Понимаете, вашу телеграмму вручить не удалось...

— Как? — Василий Кирикович поднял брови. — Я подал ее неделю назад!

— Знаю. Но в Ким-ярь нет ни телеграфа, ни телефона, и телеграмму не с кем было отправить.

— Как же нам быть? — растерянно произнес Василий Кирикович. — Мы надеялись, что нас встретят...

— А вы сходите к бригадиру и наймите лошадь, — посоветовала девушка.

— Лошадь? Разве нельзя найти машину?

— В Ким-ярь машины не ходят. Там и людей почти нет — все на центральную усадьбу совхоза переселились. Так что придется на лошади...

— Вот это новость!.. — вздохнул Василий Кирико-

вич. — Столько ехать, добраться до Сарги — и застрять в таком нелепом положении!..

— Напрасно расстраиваетесь, — мягко сказала девушка. — Бригадир у нас хороший, поможет. Сейчас он на пожнях. Идите по центральной улице до столовой, потом налево, в проулок, мимо комбината бытового обслуживания, все прямо, никуда не сворачивайте... Это совсем близко!..

На вопросительный взгляд сына Василий Кирикович ответил:

— Я сейчас, Гера... Ты отдохни... — и быстро зашагал по широкой улице поселка.

На пожнях работа была в разгаре. Два трактора «Беларусь» — один с граблями, другой с копновозом — стягивали сено к стогометателю. Там сновали женщины в белых платках, подростки, несколько мужчин.

Василий Кирикович был одет в легкий бежевый костюм, белую шляпу держал в руке и шагал по пожне медленно, в расчете, что его заметят издали и бригадир сам выйдет навстречу. Люди у стогометателя действительно скоро увидели его, но встречать никто не спешил. Шагах в десяти от работающих Василий остановился, стер с лица пот и густым баритоном, внушающим невольное уважение, крикнул:

— Кто тут бригадир?

Бригадир, загорелый и сухощавый, с лоснящейся от пота грудью, почтительно выслушал Василия Кириковича. Затем вытащил из кармана мятую пачку «Севера» и долго стучал мундштуком папиросы о корбку.

— Чего же... Раз надо лошадь, какую-нибудь найдем, — сказал он наконец.

— Мне нужна не какая-нибудь, — с беспокойством произнес Василий Кирикович. — И надежный сопровождающий. Нас двое, да и багажа порядочно.

— Все рабочие лошади заняты — сенокос! — Бригадир долго прикуривал, спрятав огонь спички в ладонях и что-то прикидывая в уме, потом обернулся, позвал: — Ванько!..

Прибежал подросток, такой же сухой и смуглый.

— Придется съездить в Лахту, — по-вепски сказал ему бригадир.

Парнишка настороженно глянул на Василия Кириковича, и лицо его с облупившимся носом стало повзрослому озабоченным.

— Запряжешь Мальку. Волокуши за конюшней. Слабенькие, но в одну сторону выдержат. Там их и брошишь. Обратно приедешь верхом... Да почту не забудь взять.— И Василию Кириковичу, по-русски: — Подите с ним. Он все сделает. За лошадь на сторону — десять рублей в сутки. Так в колхозе постановлено.

— Это что же, он и повезет нас? — Василий Кирикович с недоверием оглядывал мальчишку, которому было лет одиннадцать-двенадцать.— А если в дороге что случится?

— Все будет ладно!— Бригадир махнул рукой и направился к стогометателю.

Спустя полчаса подвода стояла у почты. Белая лошадь — старая мосластая кобыла Малька — была запряжена во что-то несуразное: две длинные жерди, они же и оглобли и полозья, с набитыми поперек досками.

Как что-то очень далекое, виденное в пору детства, вспомнилось Василию Кириковичу, что на таких волокушах возили в Ким-ярь во время бездорожья соль, спички, всякие другие необходимейшие товары и почту.

— Ты хочешь везти нас на этой... штуке? — спросил он у Вани.

— Не вас, а вот это, — и показал на гору багажа.

— А мы на чем поедем?

— Вам уж пешком придется.

— Правильно! — засмеялся Герман. — Полезно для здоровья и для связи с жизнью.

— Хватит зубоскалить!.. — оборвал сына Василий Кирикович.

Ваня разматал длинную веревку, что лежала на волокушах, расстелил на досках широченный брезент и начал деловито грузить вещи. Неторопливый, в сером латаном пиджачке, в больших резиновых сапогах и с полевой сумкой на боку, он представлялся Герману, с интересом наблюдавшему за этими приготовлениями, маленьким мужичком. И руки у Вани были совсем взрослые, темные от загара, с широкими мозолистыми ладонями.

— Не знаю, как ты все погрузишь на эти жерди! — ворчал Василий Кирикович, прохаживаясь вокруг повозки. — Неужели настоящей телеги нет?

— Телеги-то есть... — Ваня ворочал громоздкий рюкзак, который никак не вмещался на волокушах между чемоданами.

— Так в чем же дело?

— Вы, дяденька, будто с луны свалились.

Герман расхохотался.

— А ты скажи толком! — начал кипятиться Василий Кирикович.

— Да чего говорить-то! Вот поедem, и сами увидите, какая туда дорога.

Уложив багаж, мальчик завернул углы брезента наверх и долго и старательно увязывал поклажу веревкой.

— Ну, все! — объявил он. — Вот квитанция.

Василий Кирикович рассчитался. Ваня сбегал на почту, вынес пакет, перевязанный шпагатом, сунул его между вещами, проверил, хорошо ли держится прилаженный сверху топор, и взялся за вожжи. Но тут увидел, что Василий Кирикович и Герман в полуботинках.

— У вас разве сапогов нету? — спросил недоуменно.

— Сапоги? Есть. В рюкзаке. А что?

— А ничего!.. — И Ваня стал развязывать веревку.

2

Тридцать шесть километров пешком!.. Такого в жизни Германа еще не бывало. Распахнув полы пиджака и засунув руки в карманы брюк, он бодро шагал за повозкой.

Укатанная машинами дорога тянулась краем полей к синему лесу. Идти было легко — ни пыли, ни грязи; под сапогами поскрипывал песок. Пахло травами, а от поспевающей ржи наносило влажным теплом. Когда поля остались позади, начались пожни с высокими, поразительно схожими меж собой стогами сена — каждый стог, как гигантское яйцо, поставленное тупым концом. Все они однотонно поблекли под солнцем, а

на пожнях сочно зеленела отава. По краю этого широкого ухоженного луга тянулся высокий вал накорчеванного кустарника и камней, и Василий Кирикович понял, что здесь немало пришлось потрудиться мелиораторам, чтобы превратить зарастающие каменистые пожни вот в такие великолепные уголья. И когда луговина осталась позади, он еще раз оглянулся, будто хотел лучше запечатлеть эту обновленную трудом человека землю.

Перед стеной высокого леса сухая плотная дорога неожиданно вильнула вправо, а лошадь пошла прямо, то ли просекой, то ли тропой.

— Ты правильно поехал? — крикнул Василий Кирикович.

— Правильно! — не оборачиваясь, ответил Ваня. — Та дорога на Первомайский, в лесопункт.

В лесу пахло хвоей, древесной прелью, папоротниками. Герман, задрав голову, таращил глаза на островки ели, в сравнении с которыми новогодняя елка на городской площади выглядела бы просто карликом. Это уже была настоящая тайга, какую он до сих пор не видал.

С еловых лап свисали мохнатые лишайники. Герман трогал их руками — мягкие, нюхал — ничем не пахнут, вернее, пахнут лесом — и качал головой: деревья-то, оказывается, как и люди, разные! Есть блондины — у них бороды светло-зеленые, но есть и брюнеты — у тех бороды дымчатые, почти черные. А какие осины в этом лесу! Он не утерпел и подошел к могучему дереву с темной щербатой корой. Раскинул руки — полных два обхвата!..

— Гера, прошу тебя, не сворачивай с дороги! — крикнул Василий Кирикович, заметив, что сын то и дело отходит то вправо, то влево от проселка.

— Я ищу какую-нибудь птицу, — отозвался Герман. — Тайга есть, а почему птиц не видно?

— Ты лучше гляди, — посоветовал Ваня. — Да одеждой-то не шабаркай.

Герман пошел осторожнее. Он крутил головой, пристально всматривался в переплетения сучьев, в вершины деревьев и никого не видел. Но стоило остановиться, как голоса птиц явственно доносились со всех сторон.

— Иди сюда! — позвал Ваня. — Ястреба покажу.

Герман бросился на голос, но споткнулся и упал; по лесу пошел треск.

— Чего, как медведь, ломишь?.. Гляди, вон там, на елке, — видишь? — Ваня показал рукой в прогал меж деревьев.

Герман вставал на цыпочки, тянул шею, наклонялся — никого!

— Да воно-то, на суку-то! Неужто не видишь?.. Ниже смотри, ниже!

И Герман увидел. Шагах в двадцати, не далее, на еловой лапе, в полдерева, сидела крупная желто-серая птица. Хорошо был виден ее крючковатый темный клюв и желтый немигающий глаз.

— Ух ты!.. — выдохнул Герман. — Чем бы в него кинуть?

— А зачем кидать? — скосил глаза Ваня. — Пускай сидит, ведь не мешает, — и побежал за лошадью.

Герман высмотрел в траве полусгнившую палку, отломил от нее конец и только замахнулся, птица неслышно скользнула с ветки и скрылась в чаще.

Дорога пошла под уклон. Лес стал ниже и реже. Под ногами зачавкало: грязь не грязь, а какая-то болотина, чем дальше, тем глубже увязали ноги в сыром мягком грунте. Иногда под сапог попадало что-то твердое — деревья, что ли, там лежат? — нога соскальзывала, вязла, из-под нее вырывалась и брызгала вверх желтая жижа.

— Обождите, так же невозможно! — неожиданно раздался голос Василия Кириковича.

Ваня остановил лошадь, оглянулся. Василий Кирикович осторожно, по одному шажку, преодолевал вязкое место.

— Чего боитесь-то? — крикнул Ваня. — Лошадь прошла, и мы прошли... Впереди еще сырее болотины будут...

Герману же вспомнилось, что именно так, тщательно выбирая, куда поставить ногу, ходил отец по загроможденным, залитым цементом и битумом строительным площадкам — был он начальником отдела снабжения треста, часто навещался «на объекты» и любил показывать сыну «размах стройки».

Там, на строительных площадках, глядя на солидного, уверенного в себе отца, Герман всякий раз испытывал чувство гордости за него и втайне сам желал быть таким же. А теперь беспомощность отца, его излишняя осторожность не вызывали в душе ничего, кроме жалости.

— Поедем?— нетерпеливо сказал Ваня.

— Надо подождать.

Василий Кирикович подошел, тяжело дыша. Стер с лица пот, сказал раздраженно:

— Ну и грязь, даже присесть некуда.

— А чего садиться? Болотину пройдем, там и отдохнете. Как раз шесть километров будет.

— Сколько?— Герман недоверчиво взглянул на Ваню.

— Шесть. На горушке и столбик еще стоит.

— Ну и ну!..— Герман покачал головой. Ему казалось, что позади осталась по крайней мере треть пути. А если только шесть километров, то впереди еще пять раз по столько! Это, пожалуй, многовато...

Ваня шевельнул вожжой, чмокнул. Лошадь тронулась.

Герман шел, стараясь ступать след в след за Ваней. Он видел, как на брезент, в который были завернуты вещи, из-под копыт лошади брызгала темная жижа, как волокуши то приподнимались, попадая на бревно, то глубоко врезались в грязь, и удивлялся предусмотрительности мальчишки, взявшего брезент, и изобретательности людей, придумавших столь примитивный экипаж, незаменимый в условиях бездорожья.

— Много ли будет такой дороги?— спросил он.

— Четыре болотины. Да семь бродовых ручьевин.

— Чего?— не понял Герман.

— Ручьи, говорю, еще будут!— громко, думая, что Герман не расслышал, повторил Ваня.— Без мостов. А один ручей с мостиком.

— Ты что, не первый раз тут едешь?

— Конечно! Первый раз, дак папка и не отправил бы с вами. Я уже по два лета туристов в Ким-ярь возил.

— А зачем они туда ездят?

— Туристы дак!.. Озерины смотрят, рыбу ловят... За болотом, на пригорке, поросшем старыми осина-

ми, они остановились. Герман подошел к волокушам, потрогал веревку.

— Придется развязать,— сказал он.— Термос из сумки достать. Отец кофе пить будет.

3

На двадцатом километре Тимошкины сделали большой привал. Ваня угнал лошадь на пожню, к ручью, чтоб покормить, Герман занялся костром, а Василий Кирикович в мокрой от пота рубашке обессиленно сидел на мшистой кочке и вяло отмахивался от комаров березовой веткой. Перед глазами мельтешили картины далеких лет. В памяти всплывал родной дом — приземистый, широкий, он стоял фасадом к озеру; берег под кручей песчаный и чистый. Вспоминался отец — мужик-кряж, жилистый, широкоплечий, и мать — румяная, сильная женщина, всю войну за плугом ходила... Как-то они выглядят теперь?

Мысль навестить родину пришла Василию Кириковичу прошлый год, когда он вышел на пенсию. Кончилась спешка и невероятная занятость с утра до позднего вечера, ушли в прошлое совещания, заседания, командировки, наступила пора отдыха и воспоминаний. И вот наконец он в пути к отчему дому...

Запахло дымом. Василий Кирикович открыл глаза. Герман стоял на четвереньках и отчаянно дул под грудку хвороста, где теплился слабый огонек.

— Ты бересты подложи,— подсказал отец.— Она хорошо горит.

— Я уж пробовал — ни черта не получается! Только дымит... Угораздило тебя в такой глуши родиться...

Василий Кирикович промолчал. Он с грустью подумал, что в жизни, при большой работе, очень мало уделял внимания сыну и как-то даже не заметил, когда тот вырос. Собираясь в эту поездку, он втайне надеялся, что жизнь в деревне без привычного комфорта, рыбалка, ночевки у костра — все это сдружит его с Германом по-настоящему, по-мужски. И к радости своей, он чувствовал, что сын проявил к путешествию

искренний интерес. Но в пути он опять стал дерзок и язвительен.

«Утомился, вот и сдают нервы»,—подумал Василий Кирикович.

Костер разгорелся. Огонь стал весело расплзаться по сухим сучьям. Герман расстелил плащ и блаженно растянулся. Гудели ноги, ныла спина, сами собой слипались глаза. Пройдено немногим больше половины пути, а кажется, уже нет сил двигаться дальше, не хочется ни на что смотреть.

Он вспомнил, как отец, собираясь в эту поездку, рассчитывал легко и просто попасть на свою родину — в экзотический, как он выражался, край вепсов. В его дорожных планах, кроме поезда, были и такси, и колхозный «газик» — до самого дому. Не утомительная поездка, а этакое легонькое турне! Но все оказалось иначе. От железнодорожной станции — целых сто десять километров! — пришлось ехать в пыльном автобусе, потом трястись в кузове грузовика и вот теперь идти...

— Ничего, Гера, потерпи, — сказал Василий Кирикович, будто угадав мысли сына. — Как-нибудь мы одолеем эту дорогу. Но зато впереди такой отдых, столько впечатлений! Я уверен, тебе не придется сожалеть об этой трудной поездке.

— Будем надеяться! — позевывая, отозвался Герман.

Треск хвороста в костре и запах дыма воскрешали в памяти Василия Кириковича ту далекую пору, когда он мальчишкой ходил со своими сверстниками вот в такой же глухой лес за грибами и ягодами. И тогда тоже были костры, так же весело плясал огонь и так же пахло дымом. И пусть нелегким было детство — лапти да холщовые штаны, картошка да ломоть черного хлеба, посыпанный солью, — все равно это была прекрасная пора!

Он вспоминал, как рыбачил на лесных озерах, как вместе с братьями, погибшими в войну, помогал отцу и матери косить, загребать и метать в стога сено, как бегал за коровой в поросшую колючим можжевельником поскотину и как в пору уборки огородов пек в костре картошку. И чем больше он вспоминал, тем

острее ощущалась им близость родных мест. Ему даже почудилось, что с низины, от болота, тянет морошкой, а где-то далеко-далеко курлычут журавли...

...Ваня возвратился от ручья, когда в вершинах деревьев погас последний солнечный луч. Стало сумеречно. Возле прогоревшего костра, завернувшись в плащи болонья и скрючившись, спали отец и сын. Весь багаж был беспорядочно сложен на дороге.

Ваня осторожно слез с лошади. В большой берестяной коробке плескалась вода. Он бережно поставил коробку под дерево, привязал лошадь, взял с волокуши топор. Чтобы не разбудить спящих, отошел подальше, выбрал нетолстую сухую осину, свалил ее, разрубил на чурки. Скоро костер запылал жарким ровным огнем.

В полевой сумке у Вани было десятка полтора грибов. Он нагреб углей, вырезал перочинным ножом несколько березовых прутьшков, очистил от коры и, заострив, нанизал на них плотные шляпки молодых подберезовиков и подосиновиков.

Когда грибы на углях отмякли и увлажнились, он сыпал их мелкой солью из бутылочки и снова положил в жар. А пока грибы пекутся, вырубил шестик и рогатульку для котелка, чтобы сразу, как только городские проснутся, поставить воду кипятить. Он еще хотел уложить на волокуши багаж, но передумал: вдруг опять понадобится что-нибудь доставать из рюкзаков и чемоданов?

Перевернул грибы, подгреб свежих угольков, постоял над костром в задумчивости, потом отыскал глазами подходящую березу, подошел к ней, ладонями стер тонкие, как луковая шелуха, берестяные пленочки, уже отслоившиеся и отмершие, сделал ножом, не сильно нажимая, прямой разрез сверху вниз и аккуратно содрал влажную желтую пластину.

— Ну вот!.. — произнес удовлетворенно и вернулся к костру.

Грибы к той поре испеклись. Ваня присел на корточки и стал снимать их с прутьшков. Сосредоточенно и внимательно осматривал каждый грибок. Четыре шляпки, чуть подгоревшие, положил себе на колено, остальные кучкой сложил на бересту. Теперь можно и

перекусить. Из полевой сумки вытащил горбушку домашнего хлеба, разломил ее. Одну половинку спрятал обратно, вторую стал есть. Откусил, пожевал, взял подгоревший грибок, улыбнулся чему-то и сунул в рот.

Он и не заметил, как съел эти четыре грибка, а хлеб еще остался. Посмотрел на горку грибов на бересте, подумал и взял один. Покончив с ужином, поправил костер, сел на осиновую чурку, обхватил руками колени.

Выезжая из Сарги, он надеялся вернуться домой ночью, по холодку. Когда же в пути выяснилось, что Тимошкины — ходоки никудышные, когда пришлось через каждый час останавливаться на отдых, Ваня расстроился: он понял, что раньше утра в Ким-ярь не попасть. Это значит, обратно тоже придется ехать в зной и в оводы и идти на сенокос неспавшим.

Но он уже смирился с тем, что поездка получилась непутевая. Ничего не поделаешь. Они тоже не виноваты, раз идти не могут. Вот туристы — те шибко ходят, шпарят впереди лошади, только поспевай за ними...

Тревожно и неожиданно громко в тишине вечернего леса захрапела Малька. Заворочался Василий Кирикович. Ваня вскочил, подошел к лошади, погладил ее по тяжелой сивой морде, шепнул по-вепски:

— Медведя чуешь? Не бойся, к костру медведь не придет.

Малька поводила ушами, подняла голову, раздула ноздри и всхрапнула еще громче. Василий Кирикович порывисто сел.

— А? Что случилось? — спросил сиплым со сна голосом.

— Лошади стоять надоело.

Василий Кирикович поднес к глазам часы.

— Ого, половина одиннадцатого? Ничего себе...

— Дайте котелок. Я воды-то привез, дак чай можно согреть.

— О, это хорошо! Мы не чай — кофе сварим. — Василий Кирикович, кряхтя, поднялся. — А ноги-то болят. Раньше, бывало, по пятьдесят километров в день хаживал, а теперь...

Ваня наполнил котелок водой и повесил на шестик над огнем.

— Вы вот грибов поешьте,— он придвинул Василию Кириковичу бересту с горкой печеных грибов,— пока не остыли...

— Грибы? Где ты их взял? Мы ни одного не видели.

— Я ведь впереди шел. Вот и собрал. Да еще там, у ручья.

— Что ж, попробуем...

Василий Кирикович двумя пальцами взял грибок, оглядел его, понюхал, и глаза его вдруг изумленно расширились: от гриба пахло... детством. Да, да, именно детством! Он втягивал в себя неповторимый и несравнимый ни с чем аромат, и ощущение было такое, будто время стремительно повернуло вспять; в мгновение ока промелькнули десятилетия, и он уже не пожилой, много проживший человек, а такой же парнишка, как этот Ваня, что сидит по другую сторону костра.

— Вы чего? Думаете, не испекся?

Василий Кирикович вздрогнул.

— Нет, нет, испекся.— Он положил грибок в рот и долго, смакуя, жевал.— Ах, какая прелесть, какая прелесть!..

— Вы ежели ничего не будете из мешков да чемоданов доставать, дак я запрягу и начну складывать. Время-то идет!

— Да, да, складывай. Плащи мы на себя наденем... Нет, обожди! — Он порывисто придвинул к себе сумку и, суетясь, стал выгружать из нее на бересту снедь.— Ну-ка поешь сначала. Вот корейка, колбаса, апельсины... И хлеб этот еще наш, казахстанский. Попробуй!

— Спасибо, я ведь ужинал.

— Ничего не знаю! Садись и ешь.— И Василий Кирикович стал будить Германа.

4

Лесная дорога из Сарги в Ким-ярь была хорошо знакома Мальке. За шестнадцать лет, которые она ходила в упряжке, путь этот был проделан ею десятки раз. Малька помнила каждую болотину, каждую гору,

каждый ручей. Перед трудным местом она непременно останавливалась, чтобы дать людям возможность проверить, все ли ладно с упряжью и поклажей, и уж потом осторожно двигалась дальше.

Для нее будто и не существовало времени суток: днем ли, ночью ли, в проливной дождь или в метель — Малька всегда вела себя спокойно и шла ровно своим обычным шагом. И теперь она тоже не спешила, но заметно волновалась, изредка тревожно и глухо всхрапывая.

А ночь была темна. Над дорогой, в разрывах ветвей, то тут, то там виднелись звезды, но они не только не давали света, а еще больше подчеркивали темноту.

Стояло безветрие. Тайга, разогретая в течение дня, щедро отдавала тепло, и недвижимый воздух был настолько налит запахами трав, хвои, смолы и грибов, что казался густым, а темнота осязаемо вязкой.

Ваня ходко шагал за повозкой, с наслаждением вдыхая пряные лесные запахи. Он любил ночную езду в летнюю пору, когда вокруг стоит эта таинственная черная тишина, нарушаемая лишь цоканьем подков о камни да мерным шорохом и поскрипыванием волокуш. Интересные картины рисует в такие минуты Ванино воображение: он представляет, как спешат покинуть дорогу, заслышав шум подводы, шустрые зайцы, как в чаще леса останавливается и замирает насторожившийся медведь, как вздрагивает на еловом суку пестрый рябчик и, выпростав из-под крыла голову, слепо смотрит в темноту испуганными глазами; а меж деревьев, бесшумно махая широкими крыльями, плавают серые совы — ищут добычу...

— Стой, стой! Обожди!.. — раздался позади крик.

Ваня остановился. Василий Кирикович и Герман стояли на дороге и светили под ноги электрическими фонариками.

«Неужели что-нибудь выпало? — встревожился Ваня. — И завязал вроде бы хорошо...» Он поспешил к Тимошкиным.

— Посмотри, это же след медведя! — Василий Кирикович освещал на грязи отчетливый отпечаток широкой когтистой лапы.

— Ага... Тут их много ходит.

— Вот как? А они не нападут на лошадь? Я помню, у нас за деревней медведь задрал племенного жеребца.

— Не... Они людей боятся. Вы шибче идите, не отставайте от лошади, дак никто не нападет.

Подействовал ли на Тимошкиных совет Вани «шибче» идти или после отдыха они вновь обрели силы, но километров десять оба ни на шаг не отставали от повозки. Потом опять был двухчасовой привал, на этот раз на берегу лесного озера.

До Лахты осталось всего шесть километров.

Утренний туман был настолько плотен, что очертания белой лошади растворялись в десяти шагах. И хотя вокруг ничего не было видно, кроме густой влажной пелены, Василий Кирикович знал, что слева от дороги простирается приболоть, поросшая голубикой и чахлыми сосенками, справа, за луговиной, — озеро Ким-ярь, а впереди — высокая гора Кюндл-мяги. Потом дорога опять нырнет в ложбину с бурным ручьем Киви-оя, вновь потянется в гору и выведет в родную деревню, которая стоит на берегу озера.

Начался крутой подъем. У Василия Кириковича подкашивались ноги, хотелось опуститься на росную траву, закрыть глаза и полежать хотя бы пять, десять минут! Но на гору надо было подняться. А уж потом можно и передышку сделать.

Дорога ползла и ползла вверх. Туман поредел и остался позади, внизу.

Редкой красоты панорама открылась взору с вершины холма. Над пенными космами и валами неподвижного тумана, скрывающего собой озеро, в розовой дали висел, прозрачно темнея, лесистый заозерный берег. На том берегу картинно и величественно возвышалась поросшая лесом и сизая в утренней дымке островерхая гора. Солнце всходило как раз из-за этой горы и огненным ореолом охватывало ее вершину.

— Ничего видок!..

— Самая высокая гора в Ким-ярь, — пояснил отец. — Муна-мяги.

— Отдыхать-то будете или дальше пойдем?

— Да, да, пойдем дальше! — махнул рукой Василий Кирикович.

Они снова окунулись в туман и скоро спустились к

ручью. Прозрачная вода журчала меж обкатанных, гладких камней в извечном движении под уклон, к озеру. Забрели на средину и умывались долго, с наслаждением.

По склону холма поднимались медленно. Молчали.

Серые силуэты домов вынырнули из тумана неожиданно. В первое мгновение они показались огромными — туман, стелющийся понизу, как бы раздвигал и приподнимал их над землей. Но какими-то необычными были эти дома — однообразно темными, безликими, в них чего-то не хватало. Когда подошли ближе, Василий Кирикович вдруг понял: деревня пуста!

Он знал, что давно, лет десять — пятнадцать назад, в Ким-ярь произошло то ли слияние, то ли переселение колхозов, и часть людей уехала. Но он как-то не задумывался над этим, и на протяжении последних километров многократно представлял, как въедет в Лахту, как женщины, пораженные его появлением, по старому обычаю, будут низко кланяться, а мужчины степенно здороваться и поздравлять с приездом, попутно делая друг с другом впечатлениями о неожиданных гостях; и говорить будут только хорошее и громко, чтобы приезжие слышали те похвальные слова.

Но Лахта встретила безлюдьем и тишиной.

Среди всех изб, поразительно схожих нежилым видом, резко выделялся высокий дом со множеством пристроек во дворе. Дом этот стоял возле берез, белел крашеными окнами и был крыт шифером.

«Это не наш!» — сразу понял Василий Кирикович. Он хорошо помнил, что изба отца была обращена фасадом к озеру и никаких деревьев возле нее не было. Он перевел взгляд на крайнюю избу. Память услужливо подсказала: на правой стене было четыре окна. И тут четыре. Впрочем, эти внешние признаки уже не имели значения. Василий Кирикович и без того понимал, что это и есть тот просторный пятистенки, в котором он родился и вырос и в котором живут отец и мать.

У дома с шиферной крышей злобно залаяла собака. Одно из белых окон тотчас отворилось, и на улицу выглянула женщина. Она прикрикнула на собаку, проводила любопытным взглядом тучного низкорослого





человека за повозкой, мельком глянула на не по-дорожному одетого парня и скрылась — мало ли какие туристы приезжают в этот красивый край!.. А Василий Кирикович с волнением ждал от нее приветствия. Нет, он не узнал в этой женщине хохотушку и плясунью Нюру, в первый послевоенный месяц вышедшую замуж за Ивана Маркелова. Но он так хотел услышать еще не забытое «Войтэйк!»¹. И не услышал. И будто стал еще ниже ростом.

Ваня направил лошадь к крайнему дому.

Может, там, в том доме, увидели, что подвода направляется к ним, или случайно так получилось, но на

¹ «Здравствуйте!» (вепсск.)

крыльцо вышел тощий сутулый старик в холщовых мятых штанах и в длинной исподней рубаше.

«Отец?..— вздрогнул Василий Кирикович и весь напрягся.— Не может быть!..»

Опираясь сухой рукой о дверной косяк, старик подслеповато уставился на подъезжающую лошадь, потом перевел взгляд на Василия Кириковича, на Германа, подпернул левой рукой спадающие штаны, вздохнул тяжело и стал ждать. Лицо его, сморщенное, серое, поросшее седыми волосами, осталось равнодушным. Оно было чужим.

У Василия Кириковича отлегло от сердца: отец и мать всегда отличались добротой, и ничего удивительного, что они пригрели этого дряхлого, может, совсем одинокого старца.

Подъехали к крыльцу, остановились.

— Кедак жо, Ванийхут, тойдь? ¹— спросил старик.

Ваня, привязывая лошадь к изгороди, весело отозвался:

— Ёсэ ичийж пойгат эд тундиштанд!..²

5

Кирик Савельевич сидел на лавке, размазывая по лицу слезы, и бессвязно восклицал по-вепсски:

— Пришел, на родимый берег пришел!.. Дай-ка на тебя посмотреть, сыночек!.. Господи! Думать забыл, ждать устал, а ты... Вспомнил, пришел! Теперь с легким сердцем помру...

Акулина Матвеевна, высокая сухая старуха, причитала в голос. Она кидалась то в объятия сына, то спешила к внуку, дрожащими пальцами поворачивала к себе его лицо, пытаясь разглядеть, но слезы мешали. Она терла уголком платка покрасневшие глаза и вновь бросалась к сыну. Наконец, будто опомнившись, схватила самовар и выбежала на крыльцо.

А Герман как сел у порога на табуретку, так и сидел там, оглушенный.

¹ — Кого же, Ванюшка, привез? (вепсск.)

² — Неужели своего сына не узнал!.. (вепсск.)

Ни дома, ни в пути он не утруждал воображение картинами отцовской родины и деда с бабкой совершенно не знал. Но в нем жило как-то само собой сложившееся представление о том, что такое вообще дедушка и бабушка: непременно невысоконькие, опрятненькие, седенькие, с румяными улыбающимися лицами, с ласковыми хитроватыми глазами; на уме у них одни шутки да прибаутки, и живут они в домике маленьком, но уютном и светлом...

Со страхом и невольной брезгливостью смотрел он на костлявого, с бельмом в левом глазу старика в длинной, почти до колен, рубахе. Он боялся взглянуть, но все равно видел его полуоткрытый блеклый рот с длинным желтым зубом, видел тонкую, серую от морщин шею, отросшие и спутанные космы на голове неопределенного пепельного цвета.

Не менее тяжкое впечатление производила на него и изба с низенькими тусклыми оконцами. Стены, некогда оклеенные газетами, рыжи и голы, некрашенный пол сер, половицы — одна выше, другая ниже. На коричневом потолке широкие щели, и из них висят какие-то тряпки. Большая печь, занимающая четверть избы, облупилась, осела, продавив пол.

Длинные лавки вдоль стен, старинный стол грубой работы, такой же древний шкаф, железная кровать в углу да три табуретки с прожженными сиденьями — вот и вся мебель. И тяжелый дух нежили, запах плесени и чего-то гниющего...

Герман вытащил из кармана сигареты — хотя после десятого класса ему было дозволено курение, в присутствии отца он все-таки стеснялся курить — и вышел на крыльцо.

Пока грелся самовар, старики понемногу приходили в себя. Савельевич нарядился в новые хлопчатобумажные штаны в полоску и в синюю сатиновую рубаху — это был неприкосновенный наряд для погребения, но по такому случаю старик нарушил древний обычай. Матвеевна тоже надела неношенный цветастый сарафан, повязала на голову повойник, подмела пол, выскребла и вымыла столешницу. Герман и Ваня внесли в избу чемоданы, рюкзаки.

— Рассказывай, Васенька, как вы там живете-то?

Чего же Галюшку-то не привезли? Хоть бы я на невестку поглядела!— по-своему говорила Акулина.

— Ты бы, мама, по-русски...

— Ой, дура я старая!.. Ты, поди, и говорить по-нашему забыл!— И громко, будто Василий Кирикович сказал, что недослышит, спросила:— Женку-то, говорю, чего не взяли сюды?

— Куда ей в такую дорогу!..

— И правда... А внученька-то Светушка, поди, большая?

— Светлана замужем.

— Ой-ой-ой! Поди-ко ты — замужем!.. А сам-то на старой работе али где?

— С прошлого года на пенсии.

Акулина не без труда подняла на стол латунный самовар с прозеленью возле крана и ручек, достала из шкафа три граненых стакана, поставила посреди стола блюдечко с мелко-мелко наколотым сахаром, внесла из кухни половинку ржаного хлебца. Василий Кирикович спохватился, стал открывать чемоданы.

— Сбегай-ка, матка, к Маркелам!— посоветовал старик.— Позови чаевать...

— Не надо,— остановил ее Василий Кирикович.— Маркеловых пригласим вечером. Сначала одни посидим.— Он окинул стол озабоченным взглядом:— Посуды надо бы прикупить, а то... неудобно.

— Посуды? Где ты ее купишь?— удивилась мать.— Ведь и магазины у нас нету!

— Как? Во всем Ким-ярь нет магазина?

— Какая магазина, ежели людей нету!— вздохнул Савельевич.— Все наши, Васенька, в Хийм-ярь уехали, на хорошие земли.

— В Хийм-ярь?..— Слабой искоркой что-то вспыхнуло в памяти Василия Кириковича.— Это, кажется, у Онежского озера?

— Во, во! Там, у Онега. Справно живут...

— Вот оно как!.. А вы? Коровку-то хоть держите?

— Какая коровка?— отозвалась мать.— Продали. Девятый год без животинки. Картошку растим, дак и ту Маркелы пособляют и садить, и копать... Я-то еще брожу, а батько, считай, только на крылечко и выходит...

Больше Василий Кирикович ничего не спрашивал.

Что может быть приятнее после долгой изнурительной ходьбы испить свежего чаю и свалиться на охапку душистого сена в сумеречной прохладе деревенского сарая! Еще покачивалось кольцо на сарайной двери и тихо позвякивала приклепанная к нему медная цепочка, а Василий Кирикович и Герман уже спали мертвецким сном. Старики же, едва гости ушли на покой, держали между собой совет.

— Не поглянулось Василью дома, — тоскливо сказал Савельевич, окидывая избу растерянным взглядом.

— Не поглянулось, — вздохнула Акулина.

— Что-то надо делать...

— Пол-то я вымою и самовар почищу.

— Чего — пол? Пока спят, всю избу перемыть надо, печку обмазать и выбелить, занавески на окна повесить, чтобы как у людей...

— Все-то не успеть. Буде Люську у Нюрки попросить.

— Во! Беги, пока они на покос не ушли. Растолкуй Нюрке — поймет. На вечер позови, не забудь. Да посуды-то спроси.

— Может, посуды-то заказать? Люська поедет в Саргу — привезет. Чашек да тарелок каких...

— Закажи. — Зрячий глаз Савельевича вдруг заблестел. — И пусть-ко материи купят. Мне на рубахи да штаны и тебе на сарафан да платья. Нюрка с Катькой и сошьют. Да потихоньку, чтобы Василий не знал. А то неловко.

Акулина прошла за печку, покопалась в сундуке и достала жестяную банку из-под чая, в которой хранились стариковские сбережения.

— Сколь денег-то дать? Материи ведь и на исподнее надо, и на простыни.

— Дай сотню, так Нюрка сама распорядится. Она знает, чего нам надо. С Иванком потолкуй. Может, барашка заколет? Молока и масла спроси... Иванко дорого не возьмет, а чтобы питание хорошее было!

Акулина собралась уже уходить, но в это время дверь отворилась, и в избу, согнувшись, чтобы не уда-

риться о притоку, вошел Иван Маркелов, крупный ширококостный мужик с коричневым от загара лицом. Он не видел, как к дому Тимошкиных подъезжала подвода, а саргинскому парнишке, который занес почту, не поверил, что приехали сын и внук Кирика Савельевича. Однако при первом взгляде на лица стариков понял: парнишка сказал правду. Широко улыбаясь, он шагнул к Савельевичу и долго тряс в своей лапе его сухую руку.

— Вот и ладно!.. Вот и дождались!.. — с радостным облегчением говорил Иван.

— Ты бы чуток пораньше! — огорченно воскликнул старик. — Ведь только что спать в сарае легли. А может, позвать? Может, не уснули еще?

— Нет-нет. Мы на работу собрались, и они с дороги пускай отдыхают. Лучше скажите, чего пособить надо.

— Спасибо, Иванко! — прочувственно сказал Савельевич. — Сам знаешь, ничего у нас нету.

— Нету — будет! — И обернулся к Акулине: — Пойдем, Матвеевна. В таком деле без Нюрки не обойтись.

— погоди! — Савельевич схватил Ивана за рукав. — Сегодня-то уж долго не работайте. В гости ждать будем!

— Добро.

Иван и Акулина ушли.

Маркеловы были давнишними соседями Тимошкиных. Всю жизнь они прожили в дружном согласии, и только однажды получилась между ними размолвка. Было это двенадцать лет назад, когда Иван Маркелов, бессменный лахтинский бригадир, первым высказал мысль о бесперспективности хозяйствования на заболоченных и каменистых землях, на которых невозможно использовать технику, и предложил переселиться на новые места. Для многих стариков, в том числе и для Тимошкиных, это смелое предложение было громом среди ясного неба. Привыкшие к ручному труду, они не могли понять, зачем бросать обжитые еще прадедами земли? Или мужики разучились ходить за конным плугом и держать в руках косу? Но молодежь приняла предложение Маркелова, и на общем колхозном собрании проголосовала за переселение. Старики оказались в меньшинстве.

Когда началось переселение, со всех концов потянулись в Ким-ярь те, кто уже давно жили в городах и рабочих поселках и приезжали к своим отцам и матерям лишь летом, в гости. Теперь они помогали в переезде, а многие увозили стариков с собой.

Кирик и Акулина Тимошкины тоже ждали Василия. Но не дождались. Не дошла до сыновьяго сердца тревога отца-матери.

— Тебе что? — с горьким укором говорил тогда Ивану Маркелову Кирик Савельевич. — Тебе хоть в сузёмной болотине место отведи — не пропадешь: сам в силе, женка здоровая, батько еще работать может и ребятенки растут. А мы куда денемся? Нам-то как жить? Остатнее хозяйство нарушить, хоромину бросить и полыми глазами в то Хийм-ярь, как головой в омут? А ежели работать силушки нету?

— С вас никто работу не спрашивает, — хмуро ответил Иван. — И под открытым небом не останетесь. Огород тоже будет. А если боитесь в Хийм-ярь ехать, поезжайте к своему Ваське. Других-то стариков сыновья да дочки к себе увозят.

— Других увозят, а ежели Васька не приехал? Да и до нас ли ему? На письмо и то времени нету.

— Совести нету!

— Бог тебе судья, Иванко! — заплакал старик. — Но попомни: наше горюшко на твою душу ляжет!..

Кирик и Акулина уложили свое имущество в сундук и стали терпеливо ждать очереди на переезд. Уехать они решили в числе последних, надеясь, что, может быть, в эти оставшиеся до отъезда недели сын все-таки приедет.

В хмурый ноябрьский день, уже по санному пути, пришли трактора за последними переселенцами. С этими тракторами приехал и Иван Маркелов, уезжавший посмотреть новое место. К той поре семья Маркеловых полностью подготовилась к переезду, осталось только забить окна дома деревянными щитами, которые старательно сколотил из струганых досок Митрий Маркелов.

И вдруг Иван объявил семье:

— Мы останемся здесь. Земля наша под отгонное пастбище пойдет. Телят выращивать будем.

Кирик Савельевич, узнав о таком обороте, прибежал к Ивану с покаянием:

— Не сердчай, ради Христа, не таи обиду за те слова, которые я тебе по глупости говорил! Соседями были — соседями останемся.

— Брось, Савельевич, — вздохнул Иван. — Какая может быть обида?..

Первые три года Маркеловы и Тимошкины жили одним хозяйством. Кирик помогал Ивану и Митрию пасти телят, Акулина ходила на сенокос. Но доля стариков Тимошкиных в совместном труде быстро таяла: силы иссякали. На четвертый год Савельевич сказал Ивану:

— Я больше так не могу. Мы ведь твой хлеб едим. И корова вашим сеном сыта.

С тех пор соседи жили каждый своим домом. Но Иван по-прежнему веснами пахал Тимошкиным огород, за «спасибо» обеспечивал их дровами и рыбой. Когда Маркеловы ездили в Саргу, они безотказно привозили старикам из магазина все, что те заказывали. Но жизнь для Кирика и Акулины год от года все более теряла смысл, заказы их становились все скромнее и скромнее. Наконец, лишившись надежды когда-нибудь свидеться с сыном, Тимошкины махнули на все рукой, быстро одряхлели и стали жить, как говорится, одним днем, безразличные и равнодушные ко всему на свете.

Бывало, Нюра зайдет к Тимошкиным, скажет: «Дайте-ко я хоть в избе у вас приберу да вымою!» — «А зачем?» — уныло ответит Савельевич. — Нам и так ладно. Ты уж, Нюра, не тревожь нас...»

И вот теперь, когда Акулина ушла к Маркеловым, Кирик Савельевич долго оглядывал избу. Он будто впервые увидел всю убогость своего жилища, груды пыльного хлама в углах и на полках, который копился годами. Он принес из сарая плетеный кузов, поставил его посреди избы и с радостным остервенением принялся швырять в него все лишнее, истлевшее, источенное мышами. Пыль поднялась — до потолка!

Акулина, возвратившаяся от соседей, открыла дверь да так и замерла — испугалась, что дед на радостях тронулся умом.

— Чего стала? Пособляй! — прикрикнул на нее Са-

вельевич.— Все это барахло выкинем, чтобы настроение не портило, чтобы дух жилой был, чтобы... — Не найдя нужного слова, он с размаху бросил в кузов дырявые кирзовые сапоги...

Вслед за Акулиной в избу вошла Люська Маркелова, тоненькая рослая девчонка. В руках она держала большую мочальную кисть и пачку газет.

— Дедо! Ты сильно не пыли,— сказала она строго.— Я стены оклеивать буду.

Савельевич просиял:

— Ай да Люська, ай да молодец!.. Да трое-то мы... — Он потряс бородой.— До чего жить охота стало!..

К вечеру изба Тимошкиных неузнаваемо преобразилась, посветлела, и даже низкий потолок будто стал выше. У печки, обмазанной белой глиной, жаром блеснул самовар. Нашлись и занавески на окна, и клеенка на стол, и домотканый половичок к порогу.

Савельевич, удовлетворенный, сидел у раскрытого окна и аппетитно курил самокрутку. Акулина жарила на тагане рыбу.

Старик с прошлой осени не ходил к соседу — был слаб, а тут почувствовал силу и мучительно думал, какое бы найти заделье, чтобы навеститься к Маркеловым и поделиться с ними радостью, расправившей душу. Конечно, через час-полтора Маркеловы сами придут в гости, да это ведь больно долго ждать! До той поры еще в баню надо сходить... И вдруг старика осенило.

— Придется мне, матка, до Маркелов дойти,— сказал он озабоченно.

— Почто?

— Пусть-ко Митрий волосье пострижет. А то неловко, оброс, как батюшко. Перед баней-то как раз бы хорошо.

Акулина поняла тайное желание мужа.

— Ладно. Поди. Только, смотри, потихоньку!

— Да я уж тихонюшко!.. — обрадовался старик понятливости и уступчивости жены.

Вот и в дом Тимошкиных пришел праздник.

Василий Кирикович, взволнованный и улыбающийся, сидел, как и положено, в красном углу и смотрел то на отца, то на мать. В эти минуты он чувствовал себя счастливейшим человеком. Пусть тяжела была дорога к отчому дому, но тем желанней этот отдых, тем полней радость, тем приятней сидеть вот так между отцом и матерью в родном доме, в том доме, где появился на свет и рос.

За столом было оживленно, как бывает всегда в деревенских семьях при наезде долгожданных гостей, и разговор велся самый что ни на есть бесхитростный. Акулина Матвеевна уже второй раз говорила Нюре Маркеловой, дородной крупной женщине с добродушным широким лицом, о том, как накануне молилась за сына и его семейство и как утром, едва затопила печку, уголь так и «скочил» прямо в подол.

— А это уж верная примета, что гости будут!

Савельевич же тихо беседовал с Митрием Маркеловым, маленьким старичком, с ясными, как у ребенка, глазами.

Василий Кирикович вглядывался в лицо своего отца, и ему казалось нелепым и странным, как он мог в первый момент встречи не узнать его. Слов нет, отец очень постарел и как-то усох, сжался за эти четверть века, поседела его голова. Но высокий лоб, если поубавить морщин, прежний, и брови те же, густые и кустистые, и крупный прямой нос, и широкие скулы...

«Нет, это просто замечательно, что мы здесь, что мы наконец вместе!» — мысленно заключил он и глянул на сына. Герман сидел рядом с бабкой, понуро опустив голову, и вяло ковырял вилкой рыбу. Брови Василия Кириковича чуть сдвинулись. На какой-то миг он представил себя на месте сына и понял: Герману одиноко и скучно за этим столом. Если б еще говорили не по-вепски... Он взял вилку и постучал по стакану. Сразу стало тихо.

— Я бы попросил всех говорить по-русски, — извиняющимся голосом сказал Василий Кирикович.

Нюра виновато опустила глаза, Савельевич и Акулина пришибленно сникли, а дед Митрий удивленно спросил:

— Неужто, Васька, ты напрочь забыл наш язык?

Такое обращение покорило Василия Кириковича, но он не подал виду, сухо ответил:

— Дело не во мне. Здесь еще и Герман.

— Ну, ну,— закивал Митрий.— Понимаю. Только хочь по-русски, хочь по-татарски, а молодому со стариками сидеть, что с нелюбой под венцом стоять!

Наступило неловкое молчание. Все сидели понуро, и лишь Иван Маркелов невозмутимо хлебал деревянной ложкой уху.

— Да, жизнь все-таки интересная штука,— задумчиво сказал Василий Кирикович, желая как-то сгладить неловкость, вызванную последней фразой Митрия Маркелова.— Я всегда считал, что наши кимьярские места лучше саргинских — богаче озерами и лесами, живописнее. И тем не менее Сарга поднялась, отстроилась, теперь там такие поля, пожни — не узнаешь! А Ким-ярь опустело...

— В Сарге земля лучше,— вступил в разговор Иван.— Стянул колхоз все деревеньки в одно место, обзавелся тракторами да комбайнами — и пошло дело. А у нас? Какая это земля? Слезы одни. Кафтаннe заплатки...— Иван положил ложку на стол, вытащил из кармана вышитый шелковый кисет, стал свертывать сигарку.— Пока на войне не побывал, и я не знал, что такое настоящая-то земля, не ведал, какая она есть. А прошел Белоруссию, Украину — насмотрелся. Ох, какие есть земли, какие поля!.. Сутками бы на тех полях работал.— Он закурил, мечтательно улыбнулся.— Я все думал: если останусь жив, уеду на Украину — пускай душа тешится!..

— Почему же не уехал?

Иван вздохнул:

— Знаешь, правду говорят: хилое дитя сильней к сердцу прикипает. Так и у меня вышло. Вернулся домой, а здесь — разруха. Бабы на тощих лошаденках по тем кафтанным заплаткам за плугом ходят, у Нюрки моей — невестой еще была — ладони от мозолей заскорузли, а батько на работе до того изошел — кожа

да кости... Ну куда я поеду? Худа земля — камень на камне, и родит мало, однако — своя, до боли сердечной родная. Вот и остался. Принял лахтинскую бригаду да так и тянул эту упряжку до самого переселения.

— Кстати, раз уж разговор зашел о переселении, расскажи, как это было! — оживился Василий Кирикович. — Я ведь, между прочим, не знал, что из Ким-ярь уехали все.

— Надо ли, Васенька, старое ворошить? — осторожно вмешалась Акулина, которой не хотелось вспоминать за праздничным столом то полное тревог и отчаяния время.

— Надо, мама. Это же очень интересно! — возразил Василий Кирикович.

«Нашел тему для разговора!..» — тоскливо подумал Герман, которого меньше всего интересовало, когда и как произошло в этих краях переселение.

Иван задумался на минуту, потом поднял глаза на Василия Кириковича, сказал:

— Просто все было. Район с нашими колхозами замучился: никакой отдачи, одни убытки да долги перед государством. А еще бездорожье... Приехал к нам секретарь райкома, собрал колхозников в клубе и говорит: давайте вместе думать, как хозяйство поднимать. Может, говорит, слиться? У нас в ту пору три колхоза было. Подумали мы: а чего сливаться? Какой толк? В Сарь-ярь, за пятнадцать-то километров, только водой попасть можно, в Хаб-ярь — зимой, когда болота промерзнут. Да и не в том беда наша была, что колхозы по залесью раскиданы. Земля тормозила. Полянки — сплошной камень, технику применить невозможно. На пахоте — конный плуг, посев — из лукошка. Какие уж тут доходы, какая отдача!.. А в других местах, в том же Хийм-ярь, хорошие земли запускались, трактора простаивали, потому что не хватало рабочих рук. Вот мы и предложили переселиться...

Герман поднялся из-за стола.

— Ты что, Гера? — встревоженно спросил отец.

— Схожу на улицу. Проветрюсь. А то здесь душно.

— Да, да, конечно. Сходи, подыши деревенским воздухом! — И Маркелову: — Рассказывай, Иван Дмитрич!..

Герман вышел на крыльцо.

Догорала вечерняя заря за лесом. В небе густой россыпью светились звезды. Под горой, теряясь в мрачной, седой от тумана дали, простиралось озеро. Чужое. Таинственное. С непонятным и странным названием — Ким-ярь...

Напрямик, без тропки, Герман спустился на берег. Под ногами закрипела галька. Остановился и долго смотрел в туманную даль. Потом представил на мгновение, что вокруг на много, много километров нет ни души, нет никого, кроме диких зверей в дебрях лесов, и ему стало неприятно под этим небом. Он закурил и побрел вдоль берега.

«А наши, наверное, на танцплощадке, — вспомнил он о своих друзьях. — И Розка, конечно, с Владиком...»

Он будто наяву увидел ее, всегда эффектно одетую, с бледным точеным личиком и большими, вызывающе смелыми глазами. А рядом Владик, самодовольный верзила-баскетболист, которому отец и мать позволяют сорить деньгами направо и налево. Сердце ревниво заныло...

А в прибрежных кустах свистели, щебетали и сыпали дробь соловьи. Герман брел по берегу, вслушиваясь в пение птиц — он не знал, что это поют именно соловьи, ведь никогда прежде не слышал их, — и чувствовал, как душу наполняет тихая грусть. Так он шел долго, очень долго. В голове даже мелькнула нелепая мысль — не заблудиться бы! Но тут же он посмеялся над собой: ведь если идти берегом назад, то никуда, кроме Лахты, не придешь!..

Неожиданно из-под ног, хлопая крыльями, с надрывным криком шарахнулась в озеро дикая утка. Герман остановился и только теперь заметил, что ушел далеко от деревни. Он повернул обратно.

Когда поднимался от озера, в доме стариков грянула песня. Герман усмехнулся: похоже, деловая часть кончилась!..

Песня с незнакомым мотивом лилась в открытые окна дома просторно, напористо. В ней отчетливо слышался сочный женский голос. Он как бы вбирал в себя остальные голоса, не заглушая их, но и не позволяя вырываться. Если же кто-то выбивался из

стройного напева, этот голос начинал звучать сильнее и незаметно выравнивал песню.

«А ведь неплохо поют!» — отметил Герман и уселся на крылечке.

8

На траве еще лежала роса, хотя солнце стояло уже высоко и успело нагреть воздух. Трещали кузнечики, в маркеловском огороде громко ссорились молодые скворцы; с берега доносились печально-звонкие вскрики чаек.

Василий Кирикович шагал по улице, вслушиваясь в эти звуки, и задумчиво смотрел на пустые дома. Он силился вспомнить, кто именно жил в том или ином доме, и удивлялся, что память не сохранила такие детали.

За деревней Василий Кирикович остановился и долго оглядывал окрестность. На бывших полях, по косогорам, всюду желтели стога сена, а дальше зеленым полукружьем возвышался лес. Прежде, помнилось, лес был ниже, прозрачнее и стоял намного дальше. К нему через поля тянулись от деревни торные тропы и дороги — на дальние покосы, на болота, к лесным озерам. По этим дорогам возили дрова, по ним же ездили в дальние залесные деревни.

По мягкой отаве Василий Кирикович пересек поле и направился вдоль опушки. Высокий березняк звенел голосами птиц. От него пахло росным разнотравьем, муравейниками, спелой земляникой и еще чем-то медвяным и сладким. Василий Кирикович свернул в лес, прошел немного, остановился. Он смотрел на эти белые, устремленные в небо, прямые, как свечи, стволы берез, и в сознании его исподволь возникало странное видение: белый-белый снег, каряя лошадка, запряженная в дровни, на дровнях — отец в рыжем нагольном полушубке, за спиной у него, под сыромятным ремнем, сверкает отточенным лезвием топор, а в задке дровней на охалке сена — парнишка лет десяти, в серых подшитых катанках, в суконной, на вате, тужурке и в большой, не по голове, шапке-ушанке; руки, чтобы не зябли, засунуты глубоко в рукава; а по-за дорогой

куда-то назад уплывают скирды необмолоченного хлеба и стога сена с большими снежными шляпами на макушках, потом — кусты, молодые березки и елки... Какая долгая была тогда езда за дровами! Уезжали из дому еще в предрассветных сумерках, а возвращались с возом уже в темноте, когда Лахта светилась желтыми огоньками керосиновых ламп.

Василий Кирикович вздохнул и побрел березняком вдоль полей в обратную сторону. То тут, то там меж берез зеленели малинниками небольшие каменные островки. На некоторых островках почему-то росла не малина, а земляника, и в сочной зелени уже краснели спелые ягоды. Василий Кирикович вспомнил, что особенно рано поспевала земляника на Тишкином запольке — маленькой круглой полянке среди молодого сосняка. Это была солнечная и теплая полянка, наверно, потому, что лахтинские ребята бегали туда только в хорошую погоду. Там жгли костры, копались в мелком желтом песке, пекли на углях картошку и грибы... Тишкин запольек был где-то в этой стороне, но где именно, Василий Кирикович определить не мог.

Он снова вышел на опушку и направился к Сохтинской дороге, страстно желая увидеть, найти хоть что-нибудь знакомое, уцелевшее в неизменном виде. Но все — и эти поля, и одиноко растущие на них деревья, и этот лес, — решительно все было настолько неузнаваемо, что он ни о чем не мог бы сказать: вот это я помню, на то дерево я залезал, здесь я сидел...

Грустный и разочарованный возвратился Василий Кирикович в деревню. Он испытывал состояние человека, жестоко обманувшегося в чем-то большом и важном. Да, в сущности, так оно и было: он шел на свидание с землей своего детства, но свидание это не состоялось — земля преобразилась, время бесповоротно стерло с нее те давние приметы, которые еще хранились в памяти...

Под окнами, развесив на изгороди старые сети, копошился Савельевич. Он пытался из отживших веков снастей соорудить нечто пригодное для рыбной ловли. Василий Кирикович устало опустил на завалинку и долго смотрел, как отец непослушными пальцами протергивает в ячеи суровую нитку.



— Чего, Вася, молчишь? Расскажи, куда ходил, чего поглядел...

— А представь себе, прошелся вокруг полей — и решительно ничего знакомого! Все так изменилось — поверить трудно. А лес какой вымахал!..

— Правда, Вася, правда, — покачал головой старик. — Ладно, Маркелы поля обихаживают, в чистоте держат, а то бы лес в самую деревню пришел. — Он помолчал. — Земля, она, вишь ли, быстро обличье свое меняет, не то что вода. Вода всегда одинаковая. Любое озеро возьми — сколь помню, каким было, таким и осталось. И через сто годов таким же будет.

— Это верно, — согласился Василий Кирикович. — И когда сюда ехал, все думал, что мы с тобой еще побываем на лесных озерах. Очень уж хотелось мне показать их Герману.

Савельевич отложил сеть, сел на завалинку рядом с сыном.

— Вы-то побываете. А я... Простился я, Вася, с теми озерами. Навек простился!.. А помнишь, на Вешким-ярь, на лудах¹, каких окуньев таскали? По кошелю за утро!

— Помню, а что толку? — с горькой отрешенностью произнес Василий Кирикович. — Не хочу себя обманывать: без троп и дорог мне и Вешким-ярь не найти.

— Даром, не расстраивайся. — Савельевич положил руку сыну на плечо. — Бог с ними, с лесными озерами, да и с Вешким-ярь тоже! Душу-то отвести и на своем озере можно.

— Это, конечно, так, а все равно грустно...

9

Вепсская деревня... Пусть безлюдная, но вепсская. В ней жил народ, о котором Герман — сам наполовину потомок этого народа — до прошлого года и слыхом не

¹ Л у д а — каменная отмель или гряда на дне озера, вдали от берега. (Прим. автора.)

слыхивал. Это последнее обстоятельство до приезда в Лахту проходило как-то мимо сознания Германа. У матери родители украинцы, у отца — вепсы. Ну и что? Сам-то он русский! Так и в паспорте записано, потому что никакого другого языка не знает. Да и отец тоже давно пишется русским.

Но с приездом в Лахту ощущение своего наполовину вепского происхождения уже не покидало Германа. Он с интересом присматривался к деду и бабке, которые оказались намного приятнее, чем в первый момент, когда он вошел в избу. Правда, он смущался, когда чувствовал на себе пристальный, удивленно-изучающий взгляд деда, но зато совершенно свободно чувствовал себя в присутствии бабки, которая с первого дня отнеслась к нему с безыскусной искренней добротой и любовью.

Большая, с низким потолком изба, которая на первый взгляд показалась вообще непригодной для жилья — Герман даже не мог вообразить, как они с отцом будут в ней жить целое лето, — теперь представилась вполне подходящей. Да что там подходящей! Наоборот, Герман решил, что чем меньше это жилье похоже на городское, тем интереснее. Кипяток не в чайнике, а в латунном самоваре, какие до сих пор он видал лишь в кино. А печка, когда она топится, — не печка, настоящий костер под крышей, только огонь бушует!..

Но наибольший интерес и любопытство вызывала все-таки сама деревня. Дома с высокими подклетами, с резными наличниками и коньками, устремленными куда-то ввысь и вдаль, двери с коваными железными кольцами и цепочками, приземистые пристройки, таинственные темные закутки...

Во всей деревне не было двух одинаковых изб, и стояли они не рядами, а россыпью, будто люди, строившие их, специально делали так, чтоб больше было всяких закоулков. А еще эти деревья перед избами — березы, черемухи, заросли калины. Только перед домом деда и бабки, к величайшему огорчению Германа, не было деревьев.

— Дедко твой, да и его батько, твой прадед, — пояснила бабка, — вековыми рыбаками были. Вот

и не велели деревья садить, чтобы озеро из окошек хорошо видать было...

Набродившись по деревне, Герман спустился к озеру. Широкое, с синеющими вдали берегами, оно представилось ему величаво-спокойным и каким-то очень уж просторным. Легкие волны рябили мерцающим светом. Да, ничего не скажешь — красиво!

На песчаной косе, снежно белея, отдыхали чайки. Герман набрал горсть камней и стал осторожно подбираться к птицам. Но те, заподозрив недоброе, одна за другой начали взлетать.

«Тоже соображают!» Герман бросил камни в прибрежные кусты.

Затрещали, затараторили потревоженные столь бесцеремонным вторжением дрозды. С ошалелыми криками они вылетали из густой зелени, но, будто опомнившись, ныряли обратно и еще долго гомонили, перекликаясь между собой.

С песчаного мыса Лахта не была видна, но взору открывалась широким сияющим разливом северная часть озера. По всему берегу, насколько хватал глаз, ложбины, поросшие лесом, перемежались с проплешинами лугов и полей. В зыбком мареве июльского дня на крутом берегу россыпью домов темнела маленькая деревенька.

Герман удивился, когда из-за этой деревни вдруг показалось большое пестрое стадо. Живой рекой устремилось оно к озеру. Скоро на береговом гребне появился и пастух в длинной белой одежде. Он остановился на юру, глянул вниз, где сморенная жарой скотина разбредалась по мелководью, и растянулся на траве.

Герман далеко стороной обошел стадо и поднялся к пастуху. Но он был весьма разочарован, когда увидел, что это не кто иной, как Митрий Маркелов. Старик сощурил в улыбке голубые детские глазки, воскликнул:

— Вот те ёрш!.. Бог гостя послал. Здоровушко, Герман! — и хлопнул ладонью возле себя. — Садись-ко рядком, да поговорим ладком!.. Пока мои ребяточки купаются.

Герман недоуменно глянул на озеро.

— Да пестряки-то. Ишь полощутся! А другие есть — плавать любят, как лоси. Дай волку — за озеро уплывут. Прошлый год семь штук туда уплыло. Вот страху-то натерпелся! А не потонули... Ну, как тебе здешняя санатория нравится?

— Нравится,— согласился Герман и с надеждой спросил: — А в этой деревне кто-нибудь живет?

— Нет, парень. На здешнем берегу ни души нету. Только за озером, отсюль не видать, есть в одной деревушке старик, да еще подальше две старухи.

— Тогда чьи же это коровы?

— То не коровы, а бычки да телушки,— уточнил старик.— Они совхозные. Издале-ека пригнаты!..— Митрий был настроен доброжелательно, ему хотелось поговорить; он сел, вытащил из кармана полотняного балахона кожаный кисет.— С той поры, как народ-то наш переселился, каждое лето из Хийм-ярь телятёшек на откорм сюда пригоняют. А мы пасем. Кормина здесь больно хорошая. Через наши руки, считай, тыщи голов прошло!..

— Но ведь плохо так жить, без людей.

— Зимой, правду говоришь, худо, а летом будто так и надо. Мы уже привыкли.

— Все равно скучно.

— Э, парень! Летом скучать некогда. Поговори-ко с Петькой, дак он скажет.

— С каким Петькой? — удивился Герман.

— Да с нашим-то, с внуком-то моим. Ему другой раз и суток не хватает.

— А я и не знал, что у вас есть внук.

— Надо знать, раз в соседях оказался... У меня внуков много, всех-то одиннадцать душ. А здесь, Ванькиных-то ребятишек, счас четверо дома. Петька-то ой головастый! Наш век, считай, прошел, а что мы знали о своем Ким-ярь? Да ничего. Сказывали старики, что житье здесь спокон веку, что против монголов наши чухари выстояли, в смутное бремя поляков посекали. А как это было, правда ли — никто не знал. И вот Петька доколулся. Погоди, он тебе всего порасскажет!

— А где он сейчас?

— Петька-то? На покосе. Вишь погода какая!

Самое время сено класть. — Он помолчал, будто вспоминая что-то, попытался цигаркой. — А вот Мишка, старший, не такой. Тому бы по лесу пошататься, на птичек да зверушек глаза попятить. Другой раз уйдет весной за мошниками¹ утром, еще по теми, да только к вечеру и воротится. И хлеб в котомке нетронутый — за весь-то день кусок сжевать времени не хватило!.. А на покосе, бывало, загребает, загребает сено да и станет, будто уснет. Окликнешь — молчит, голову не поворотит, подходить станешь, а он перстом грозит — тише!.. Глянешь, а на сене какая-нибудь тварь ползущая — гадюка али медяница... Не знаю, в кого эдакой удался. Живет в Ленинграде, а душа здесь. Скоро приехать должен, давно в отпуск ждем. — Митрий глянул на берег и вдруг пронзительно закричал: — Куда потянулись, мокрохвостые? А ну, вертайте! Вот я вам!.. — и погрозил темным костлявым кулачком.

Стадо, растянувшись по мелководью, медленно двигалось вдоль берега к песчаной косе.

— Буржуй! Вертай обратно!! — завопил старик срывающимся голосом.

Пегий бычок, который брел по брюхо впереди стада, заметно прибавил ходу.

— Вот и всегда так! — Митрий в сердцах хлопнул ладошкой по колену. — И до чего вредён! Ведь знает, что ему кричат, понимает, что велят ворочаться, дак он пуще прет. Настоящий буржуй! Придется бежать, а то к Лахте утянутся и весь домашний берег своими лепехами замарают... Ты погоди тут, я их сейчас заверну! — И Митрий шустро, только полы балахона развеваются, побежал под откос.

Герман не стал ждать, пока старик обойдет стадо, ему хотелось двигаться, хотелось куда-то идти.

Берег был сплошь истоптан скотом. В застоявшемся воздухе пахло навозом, роилась мошкара, летали большие зеленые мухи. Герман свернул в березняк, но и там не было свежести, трава помята, молодая поросль объедена, видно, бычки и телочки любили этот светлый прибрежный лесок.

За березовой рощицей путь преградил ручей. Он

¹ То есть за глухарями. (Прим. автора.)

был широк, но мелок: с обрыва хорошо просматривалось дно, устланное галькой и обкатанным камешником; торчали из воды, сверкая на солнце шлифованными лысынами, белые валуны. И здесь тоже пахло скотом и в изобилии вилась мошкара. Герман повернул обратно: ему захотелось свежести, захотелось возвратиться на чистый и нетоптанный лахтинский берег.

10

По тропке к озеру шли двое: высокий поджарый юноша в синем спортивном костюме и девушка в белом платье; толстая каштановая коса падала ниже пояса и плавно изгибалась на ее спине при каждом шаге.

Ошеломленный внезапным появлением молодых людей, Герман так и прилип к окну.

— Бабушка, кто это?

Акулина, заслонясь рукой от вечернего солнца, глянула на улицу.

— Петька да Катька маркеловские. Брат с сестрицей.

— Такие... взрослые?

Когда дед Митрий говорил о своих внуках, они почему-то представились Герману подростками.

— Дак ведь Иванко-то одного году с твоим батком! — охотно пояснила бабка, радуясь случаю поговорить с молчаливым внуком. — Первой-то сын у его — Мишка — армию уж отслужил, а Петька второй будет, он в Петрозаводском учится. А Катька — третья. Она в Чудрине училась. Десять кончила. Еще Сашка есть, моложе ее, дак тот недавно на ученье поступать уехал. Потом Люська будет, а самый-то младший — Колька. А всех-то ребят у Иванка шестеро.

— Куда же они пошли? Купаться?

— На лодке плавать. Петька-то каждый вечер катается да плавает, удалой парень! А ежели Катька свободная, вместе ходят.

Герман смотрел, как молодые люди подошли к лодке, столкнули ее с берега и уселись: он — за весла,

она — на корму. Греб он размеренно и сильно. Весла, отражая закатное солнце, то вспыхивали огненными крылышками, то гасли, погружаясь в воду.

Дощаник маячил на озере не менее часа, и, когда стал приближаться к домашнему берегу, Герман вышел на крыльцо.

Савельевич по-прежнему возился со своими сетями. Глянув на внука, он сказал:

— Вот погоди, почию сетки, и будете вы с батюшкой рыбицу ловить. Ущипу из свеженькой рыбки ох как люблю!

— Свежая рыба — вещь! — согласился Герман, усаживаясь на верхней ступеньке. — Но я бы сейчас и лососевого балычка с удовольствием поел.

— Барычок-то у нас не водится. Хоть бы окунишек да плотиц половить...

Герману стало весело.

— Неужели балычок не водится? А я думал, в этом озере и заливная осетрина есть!

Старик не понял шутку.

— Не-ет, — серьезно ответил он, — сетрины тоже нету. Даже не слышал этакой рыбины. Она, поди, в морях...

Лодка пристала к берегу. Черная лодка, синее озеро и — белое платье... А дед, не замечая, что внимание внука отвлечено, продолжал:

— Другие, верно, любят морскую рыбу, а по-моему, дак наша, озерная, — самолучшая! Из окуньев-то — а они ведь здоровые бывают, которые и с лапоть! — до чего добра уха!.. А щука жареная, особо мелконькая — м-мх! — Он потряс бородой и повернул к внуку посветлевшее лицо. — А сушеную салаку не пробовал?

— Нет.

— Ну-у!.. Да в ей и косточек-то не найдешь! Сама в роте тает...

Поравнявшись с домом Тимошкиных, Петр направился к Герману, а его сестра пошла дальше, к своей избе.

«Даже не взглянула!» — отметил Герман и спустился с крыльца.

Знакомясь, Петр сильно сжал руку и улыбнулся

так, будто невзначай встретил старого приятеля. Был он выше и плечистее Германа, черты лица грубее — нос крупный, глаза расставлены широко. Но это лицо, которое нельзя было назвать красивым, оставляло приятное впечатление. В нем сочетались черты мужества и добродушия, особенно заметного в открытом взгляде светлосерых глаз.

— Загораем?

— А что делать? — Герман пожал плечами. — Тишина, покой.

— Да, у нас тихо... Непривычно после города?

— В общем-то ничего.

— Ты, Петька, почто нашего парня стороной обегашь? — неожиданно обрушился на Маркелова дед Кирик. — В гости не пришел, дак хоть бы на лодке кататься позвал.

— Извини, дедо, не догадался!.. — смутился Петр. И Герману: — А в другой раз — пожалуйста, в компанию, без церемоний. Я ведь каждый день по вечерам плаваю. Это у меня тренировка.

— Увлекаешься греблей?

— Нет, я пловец. Но и греблю тоже люблю... Между прочим, если желаешь, можем утречком ненадолго махнуть на рыбалку. С дорожками.

— С удовольствием! — обрадовался Герман, хотя не имел ни малейшего понятия, что это за «дорожки» и как ими ловят рыбу.

— Вот и договорились. Я зайду за тобой.

Когда Петр ушел, дед сказал:

— Я ведь на него нарочно шумнул. А парень он ходовой, нам со старухой много пособляет. И работающий. В батьку.

Утро было прохладно. Плотный туман росой оседал на одежду, мелкой пылью струился над лодкой, которая, казалось, не плывет — летит над черной бездной. Герман поежился: как в океане, даже берегов не видно!..

Он сидел на корме притихший. Все для него было непривычно и ново в этом зыбком неземном мире, в котором, кажется, никого и ничего нет, кроме их двоих да черной, странно оснащенной лодки.

Два можжевельных прута с колокольчиками на вершинках торчали по бортам мачтами-коротышками, лесы дорожек пятидесятиметровыми антеннами тянулись от этих мачт в холодную загадочную глубину рыбьего царства, и где-то там, сзади, почти у дна, стремительно скользили блесны. Все представлялось: вот-вот какая-нибудь большая рыба, привлеченная блеском полированного металла, ринется вдогонку или наперерез блесне и схватит ее зубастой пастью. И тогда враз натянется антенна-леса, вздрогнет мачта-коротышка, звякнет колокольчик — не зевай, рыбак!..

— Люблю с дорожками плавать! — говорил Петр. — Особенно когда берет крупная щука. Ох и поволнуешься, пока ее выводишь! Как мой дедушка говорит, поседеть можно, пока до лодки дотащишь.

Было видно, что рыбалка доставляет ему большую радость. И греб он с каким-то особенным наслаждением, играючи; весла погружались в воду без всплеска и так же неслышно взмывали вверх.

— А что, щуки очень крупные бывают?

— Вывают. В наших краях самая большая щука была поймана в Сарь-ярь лесником Кагачевым. Двадцать четыре килограмма!

— Ничего себе! — ахнул Герман.

— А на нашем озере рекорд пока держит мой дедушка. Его щука была на семнадцать с половиной килограммов.

— Тоже большая.

— Не большая — огромная! Ты бы на нее посмотрел — крокодил, а не щука. Дедушка вытаскивал ее на дорожку полчаса. Тащит, тащит, а она как рванет вглубь или в сторону, так почти всю леску обратно и возьмет: крепко-то держать нельзя, иначе оборвется! Он ее снова тащит... И все-таки взял в лодку.

На левом борту дзинькнул колокольчик. Герман вздрогнул, схватился рукой за лесу, осторожно потянул.

— Тащи, тащи! Окунишка попался. Саженками, на полный мах выбирай.

Герман торопливо и неловко заработал руками. Желтобрюхий окунь, резко выдернутый из воды, ударился о борт и, сбитый с крючка, плюхнулся в озеро.

Герман вскрикнул и растерянно оглянулся на Петра.

— Бывает!.. — ничуть не огорчился тот. — Невелик и был, пускай подрастет. А в другой раз аккуратнее, плавно поднимай.

Леса опять стала уходить в темную воду. Глядя на белые руки Германа, на его длинные и тонкие пальцы, Петр спросил:

— Ты в каком институте?

— Еще не решил... Нынче школу кончил. Хочу годик отдохнуть.

— Роскошно! — то ли позавидовал, то ли не одобрил Петр. — Только поступать будет труднее, многое забудется.

— А у меня медаль, — скромно заметил Герман. — Один экзамен сдам — и порядок.

— О, это здорово!.. А я позапрошлый год все лето за книжками просидел. Конкурс в университет большой, вот и корпел, даже на рыбалку не ходил.

Резко и требовательно зазвенел колокольчик. Можжевельный прут на правом борту согнулся в дугу. Герман схватил леску, лодка качнулась.

— Не горячись. Эта рыбка серьезнее.

Капроновая леса раз, другой скользнула в руках. Герман стал наматывать ее на ладонь.

— Не наматывай! Пальцами сжимай и не давай слабину.

Неожиданно рыба пошла легко, и Герман едва успевал выбирать дорожку, потом метнулась вбок. Леса со свистом заскользила в воду. Герман машинально обвернул ее вокруг ладони. Петля тотчас врезалась в руку.

У Германа на верхней губе выступили капельки пота. Он явственно ощущал, как вглуби, упираясь, плывет неведомая рыба.

— Энергичней, вверх пошла!.. — подсказал Петр, но было уже поздно.

Леса ослабла. Крупная щука взвилась свечой, почти полностью выскочив из воды. Она судорожно тряхнула головой, и блесна вылетела из раскрытой пасти.

— Эх!.. — выдохнул Петр.

А Герман, побледневший и растерянный, смотрел, как по воде расходятся широкие круги, и смятенно бормотал:

— Как она вымахнула!.. А пасть-то!.. Вот это рыба...

Взошло солнце. Порозовел и пришел в движение туман; с юга подул слабый ветер.

Плыли молча. Герман все еще находился под впечатлением пережитого, и Петр не хотел отвлекать его разговорами: он знал, что именно в такие минуты рождается рыбак...

11

Бабка Акулина только еще растапливала печь, когда дверь распахнулась и в избу влетел Герман. В вытянутой руке он держал большую щуку.

— Ой, ой, ой!.. Щучина-то до чего добра! — восхищалась старуха. — Поди, фунтов десять потянет. Неужто сам изловил?

— Конечно! — Лицо Германа сияло. Он шмякнул щуку на стол. — Еще трех вытащил. Те, правда, поменьше. Да две рыбины сорвались... Уха будет — люкс!..

— Из своей-то рыбки уха всегда слаще, — отозвался дед, проворно слезая с печи.

— А у тебя, дедушка, дорожек нет?

— Есть, да только лески, поди, худые. Раньше лески-то нитяные делали... А чего, поглянулось?

— Очень! Днем бы еще половить. Лодка у них свободная...

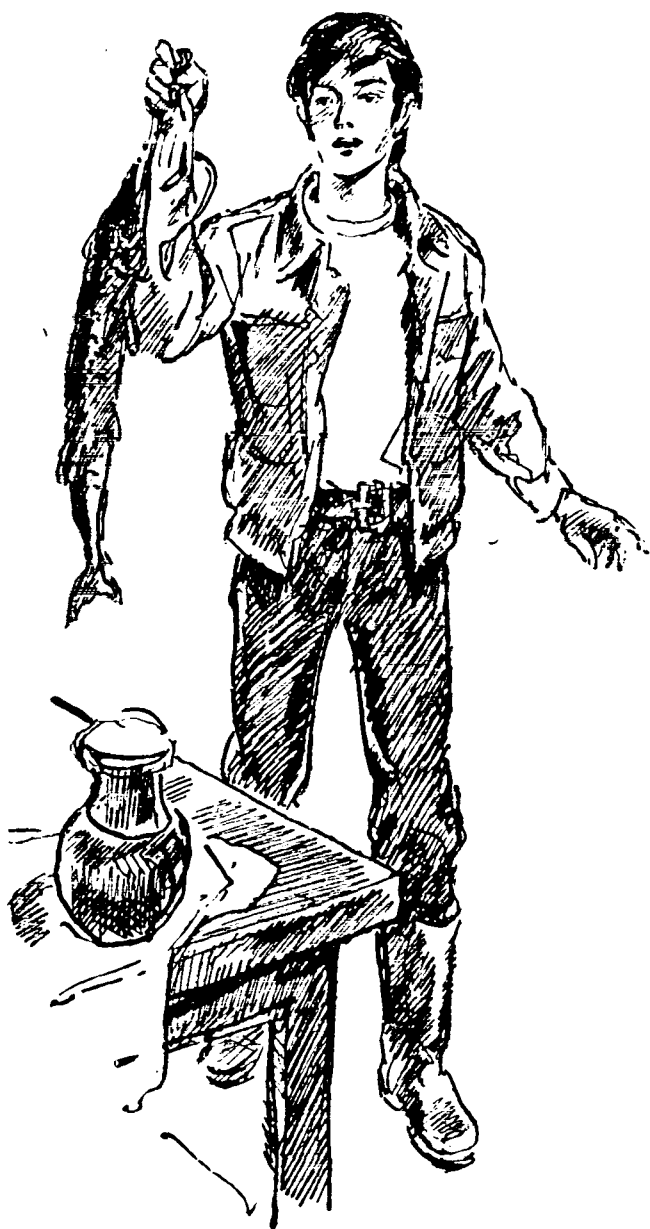
— На дорожку по утрам да вечерам клюет. Днем лучше удочкой.

— Удочкой-то я никогда не ловил. Получится ли?

— Чего же не получится? Дорожка мудренее, и то, вишь, получилось.

— Можно попробовать. Мы тонкой жилки много привезли и крючков всяких.

Пока Герман искал в чемодане лески да крючки, старик внес в избу два длинных прямых удилица,



а потом долго мял в заскорузлых пальцах скрипучие мотки капроновой жилки.

— Вот эта, пожалуй, самая подходящая. Размотай-ко, у тебя глаз вострее, да и привяжем... А крючки?

— Здесь.— Герман открыл пластмассовую коробочку.— Сам покупал. Какие были в магазине, всех взял по десятку.

— Дак я, парень, и не вижу ничего! — Дед склонился над коробочкой.— погоди, чайное блюдце достану.— Он взял из шкафа блюдечко, положил на стол.— Во, сыпь сюда!

Герман высыпал крючки, а дед уселся на лавку, взял в руку спичку.

— Господи, чего есть-то! — поразился он.— А мы, помню, из гвоздей да из булавок делали. Да на эдакие крючки прорву рыбы можно наловить! Вот такой, мелконькой,— он ткнул спичкой в крохотный крючок,— на плотичек в ручье дак в самый раз, а этот—кажись, еще и кованый! — на озеро годится. Такой и надо.

— Не мал? — После дорожечных якорьков выбранный крючок показался Герману слишком уж мелким.

— Не, не, в самый раз! И плотица попадет, и окуня сдержит.

Бабка Акулина краем уха прислушивалась к этому разговору и умильно посматривала то на мужа, то на внука. Эти приготовления к рыбалке напоминали ей ту далекую пору, когда вот так же возились с удочками сыновья-подростки...

К тому времени, когда поднялся Василий Кирикович, все было готово для ужения.

За завтраком Савельевич подробно и длинно объяснял, где, в каких именно местах лучше ловить рыбу. Но Василий Кирикович плохо помнил названия мысов и заливов, ручьев и луд и потому в объяснениях отца разобраться не мог.

— Ну хоть луду Плеш-пя знаешь? — спрашивал огорченный старик.— Она у Черной ямы.

— Но Черная яма на той стороне озера!

— Верно. Дак вот перед ямой, маленьюшко левее и ближе к мысу Мюрк-немь,— луда Плеш-пя. Там и

кол должен стоять. Так вот на самой луде не надо удить. Днем там рыбы нету. Вся рыба в шоллях¹. Они там рядышком. От Плеш-пя их хорошо видно.

— Ладно, посмотрим. Может, и поближе травы найдем.

— Искать-то будете, так хорошенько глядите, — советовал дед. — Где вода блестит, там и шолли.

Озеро рябило мелкой волной. Небо было чисто, лишь кое-где над горизонтом тающей дымкой висели легкие облака. День опять обещал быть знойным.

В белой рубашке и черных брюках, в сверкающих полуботинках и в шляпе, Василий Кирикович осторожно спускался по тропке, круто сбегающей к озеру. И Герман опять подумал о том, насколько привык отец оберегать себя от малейшей случайности. Ведь даже бабка и та бойко спускается к озеру по этой тропинке, а дед Митрий запросто бегаёт за своими телятами по косогору, где берег еще круче.

Подошли к лодке. Василий Кирикович подозрительно оглядел ее, спросил:

— Как она, не очень протекает?

— Нисколечко.

— И устойчивая?

— Как теплоход!.. Да ты не беспокойся, на этой посудине я гарантирую тебе абсолютную безопасность!

Они спустили лодку на воду, и Герман придержал ее, пока отец неловко влезал в дощаник и пробирался на корму, потом оттолкнул лодку от берега и лихо заскочил в нее.

— Грести уж придется тебе, — сказал Василий Кирикович. — Для меня это, пожалуй, тяжеловато.

— А для меня — удовольствие!

Герман еще никогда не сидел за веслами, и, чтобы не оконфузиться перед Петром и Катей, ему нужно было хоть немножечко потренироваться. Он надел весла на уключины, сел поудобнее, уперся ногами о шпангоут.

— Итак, куда?

— Давай прямо. Немного отплывем, потом завернем вдоль берега направо.

¹ Ш о л л и — травы, рдест длинный. (Прим. автора.)

— Есть, капитан!

Широким взмахом Герман занес весла за спину и ударил ими по воде. Правое весло врезалось глубоко и будто увязло, зато левое скользнуло лопастью по поверхности и окатило брызгами Василия Кириковича.

— Ты поаккуратней!

— Маленький душ. Для освежения,— нашелся Герман, но второй гребок сделал осторожнее, плавно; лодка тронулась.

Очень скоро Герман понял, что гребля не такое простое дело, как ему казалось. Он почувствовал, насколько упруга и неподатлива вода.

Медленно, зигзагами, но лодка все же подавалась вперед. Василий Кирикович вытягивал шею и вглядывался в даль, отыскивая глазами хорошо запомнившиеся с детства зеркальные пятна спокойной воды: где на поверхности такое пятно, там и шолли.

— Вижу! — воскликнул вдруг Василий Кирикович и приподнялся на скамеечке.

Герман оглянулся.

— Левее смотри, левее! Неплохое должно быть место. Правым поднажми. Еще!

Ему вспомнилось, как он подростком таскал на удочку окуней и плотиц где-то здесь в больших и густых травах, и почему-то подумалось, что впереди именно те травы. Его охватило волнение.

— Потише. Не булькай. Подплывем аккуратно, чтобы не спугнуть рыбу,— шепотом предупредил он сына.

В воде показались длинные плети травы с продолговатыми желто-коричневыми листьями.

— Очень хорошие травы! — удовлетворенно прошептал Василий Кирикович и сделал порывистое движение, будто хотел что-то взять со дна лодки. — Постой, а чем причаливать? — Он растерянно посмотрел на сына.

— А-а!.. — Герман сообразил, в чем дело.

Плыть за шестом на берег ему совсем не хотелось — неумелая гребля силой одних лишь рук быстро утомила его, и он предложил причалить удилищем, а рыбу ловить по очереди.

— Ладно,— согласился отец.— В самом деле, не плыть же на берег!

Пока Герман чалился, Василий Кирикович выбрал из банки червя покрупнее, старательно насадил его на крючок и сделал первый заброс. Едва насадка затонула, поплавок вздрогнул и часто-часто закивал. Подсечка! Пусто.

— Это плотичка,— шепотом сказал Василий Кирикович и поднял указательный палец.— Ее выловить не так-то просто.

Подсечки следовали одна за другой, но вытащить рыбу не удавалось.

— Мелочь! А червь крупный, вот и не могут взять,— объяснял он свою неудачу.

— А по-моему, ты рано дергаешь,— предположил Герман.

— Ну да! Наоборот, запаздываю. Надо сразу, вот так! — Он подсек, едва поплавок кивнул первый раз, и опять пусто.— Ну что ты скажешь! Обманывают...

Герман, поначалу с интересом следивший за ужением, снял рубашку и растянулся на скамеечке.

— Когда вытащишь — разбуди,— сказал он.

— Ыгы, ыгы!..— послышалось в ответ странное мычание.

Герман привстал, повернул голову и увидел, что отец что-то тащит. В следующее мгновение в лодке трепетала, сверкая на солнце, большая серебристая плотица.

— Вот видишь, взяла покрупней — сразу вытащил! — торжествовал Василий Кирикович. Он зажал рыбу меж колен, высвободил крючок и бережно положил плотицу в корзинку. А когда насаживал свежего червя, Герман заметил, что руки отца дрожат, как дрожали у него самого, когда утром вытащил на дорожку первую щуку.— Я еще поужу, ладно? А потом ты...

— Лови, лови,— великодушно согласился Герман и снова улегся на скамейке.

А Василий Кирикович входил в азарт. То ли он приурочился к осторожным поклевкам, то ли к зарослям рдеста в самом деле подошел на кормежку косяк крупной плотвы, но пустые подсечки случались

все реже. Даже длинное гибкое удилище будто стало легче и послушней в руках.

— Ыгы... Есть!.. Вот так! — короткими восклицаниями вполголоса сопровождал Василий Кирикович удачную подсечку. Или, если рыба сходила с крючка: — Ыгы... Ах ты черт возьми!

Он, как в детстве, радовался каждой пойманной рыбе, сопел от усердия, торопливо насаживал крючок и очень огорчался, что сын ничего не видит и не разделяет эту его рыбацкую радость.

Герман же, накрыв лицо майкой, недвижимо лежал на скамеечке. В это утро он поднялся очень рано, и приятная дрема овладела им.

— Ыгы... Ыгы!.. О-оп!

Это были уже новые звуки. Герман встрепенулся, скинул с лица майку. Он увидел красное от напряжения лицо отца, удочку, согнувшуюся в дугу, и порывисто сел.

Василий Кирикович выводил крупного окуня. Распортив спинной плавник, рыба зигзагами ходила на туго натянутой лесе, медленно, но неумолимо приближаясь к корме лодки. И вот уже Василий Кирикович протянул руку, чтобы взяться за леску и поднять рыбу, но в этот момент окунь сошел. Удилище резко выпрямилось, вздернув лесу.

— Ой!.. — вскрикнул Василий Кирикович и выронил удочку.

— Кажется, рыбак поймал сам себя! — засмеялся Герман и добавил: — А окунь-то был хорош!..

Василий Кирикович молчал, разглядывая свою руку. Крючок глубоко, по самый изгиб, сидел в мякоти ладони.

— Давай вытащу, — предложил Герман.

— Нет, нет! — Василий Кирикович отвел руку подальше от сына. — Еще обломаешь... Да и сначала надо обработать. Хотя бы спиртом или йодом... У нас есть в аптечке спирт?

— Должен быть.

— Отчаливай!

— Домой, что ли?

— А как же?! Это тебе не шутка! — Василий Кирикович потряс рукой со злополучным крючком.



— Н-да...— Герман вздохнул: возвращаться с озера ему не хотелось.— Рыбы-то много наловил? — Он привстал, заглянул в корзинку.— Ого! Десятка полтора будет. Молодцом!.. Значит, отчаливать?

— Конечно!

Василий Кирикович обрезал леску, убрал удочку, а руку с крючком положил на борт. Пока плыли до берега, он так и не пошевелил этой рукой, будто она была неживая.

Савельевич, босой, в белой рубахе навывпуск, сидел на завалинке — отдыхал.

— Чего же скоро воротились? — спросил он.— Али не клюет?

— Понимаешь, такая беда — крючок воткнулся! — И Василий Кирикович показал отцу руку.

— Дак выдери! Делов-то...

— Вот и будем сейчас доставать.
— Хирургией займемся, дедушка, хирургией!..
Старик проводил сына и внука долгим взглядом и недоуменно пожал плечами.

12

Невелики домашние дела у деревенской хозяйки, когда нет ни скота, ни кур, ни огорода, но для бабки Акулины в ее годы и ведро воды поднять из колодца — труд. Держась обеими руками за ручку ворота, налегая на нее всем корпусом, она еле-еле тащила вверх тяжелую бадью.

«А если ручка выскользнет?» — подумал Герман и опрометью выбежал из дому.

— Да что ты, внучек? Не тяжело ведь!

— Пусти.— Герман мягко отстранил бабу, взялся за ворот. Ручка была длинной, и стальной трос довольно легко наматывался на деревянный вал.— Хоть и не тяжело, а, пока мы здесь, воду буду носить я. И на озеро тоже не ходи.

— Вот ты какой!.. Отдыхал бы. Ведь в гости приехал. А я привыкшая.

Герман натаскал воды, потом принес дров для печи, спросил:

— Еще чего делать?

— Нету больше никаких делов! Отдыхай.

Но Герману показалось, что бабка еще о чем-то хочет его попросить, да не решается.

— Подумай хорошенько. Может, все-таки есть?

— Веничек бы свеженький надо. Березовый. Да это потом, не к спеху.

— Зачем потом, если можно сейчас?

Герман сходил за деревню, в мелком березняке наломал целую охапку веток, перевязал их брючным ремнем и принес бабке.

— Хватит?

Акулина только руками всплеснула.

Все эти мелкие домашние дела были Герману в удовольствие, но они слишком мало занимали време-



ни и не могли поглотить его энергию. Тогда он решил помогать деду чинить сети.

— Ну, ежели охота — пособилай, — согласился Савельевич. — Дело нехитрое!

Он показал Герману, как продергивать в ячеи нитку, как делать петли и затягивать узлы.

— Знал бы, что приедете, я бы капроновых сетей наплел, — с сожалением говорил старик. — А вы даже и не написали, что сюда сряжаетесь.

— Ничего, дедушка! Мы и эти починим. Только ведь я не умею их ставить.

— Дак батько-то!

— Думаешь, он умеет?

— Должен уметь. Парнишкой был — вместе ставили. — Дед глянул, как внук проворно затягивает узлы, улыбнулся. — А у тебя ловко выходит, даром что у рук не бывало...

Подошел Василий Кирикович, возвращавшийся с прогулки. Он долго смотрел на работу отца и сына, и

ему тоже захотелось принять участие в ремонте снасти. Дотронувшись пальцем до коричневой берестяной трубочки на верхней тетиве, Василий Кирикович сказал:

— Этот поплавок легковат. Не забудьте сменить. А здесь, — он потрогал круглый камушек на нижней тетиве, — грузило тяжеловато.

— Чем подсказывать, сделал бы сам, раз умеешь, — заметил Герман.

— Нет, я, конечно, сети чинить не умею, — признался Василий Кирикович, — но знаю, что грузила и поплавки надо привести в соответствие, иначе рыба в сеть не пойдет.

— Надо, все надо! — вздохнул Савельевич. — Какие уж это сети? Отслужили. Хоть бы на ушицу рыбешки попадало, и то ладно...

Когда наступил вечер, Герман направился к Маркеловым. На нижней ступеньке крыльца, наслаждаясь покоем, курили самокрутки Иван и дед Митрий. Герман учтиво поздоровался с ними, спросил, дома ли Петр.

— Поди, поди, дома! — отозвался старик.

Герман поднялся на крыльцо, и как раз в эту минуту дверь неожиданно отворилась, и на пороге показалась высокая, стройная девушка. Была она в выгоревшем платье, тесноватом и коротковатом, и в руке держала большое деревянное ведро. Герман поспешно посторонился.

— Нет, нет, проходите! — сказала она.

Но Герман будто не слышал. Он смотрел на лицо девушки, смуглое, почти абрикосового цвета, видел ее легкое смущение, сам был смущен этой внезапной встречей и почему-то не мог отвести взгляд от глубоких, с синевой, глаз.

— Пожалуйста, проходите! — громко повторила она.

— А иче мида сийжут, авойньсу? ¹ — бросил отец.

Девушка переступила порог и, зардевшись, сбежала с крыльца.

Петр, примостившись на подоконнике, что-то писал, его младшая сестра, остроглазая, голенастая

¹ А сама что стоишь, полоротая? (вепсск.)

Люська, сновала по избе — собирала ужин; возле печки на низенькой скамеечке грелся никелированный полуведерный самовар.

— Не стишки ли сочиняешь? — Герман панибратски хлопнул Петра по плечу.

— А, это ты?.. Нет, не стихи. Мыслишки кой-какие. Сейчас кончу.

Изба Маркеловых была разделена на две половины. Крашенный пол устлан домоткаными полосатыми дорожками, стены оклеены светлыми обоями, окна и двери отсвечивали бледно-голубой эмалью. На передней стене, над срединным окном, красовались роскошные лосиные рога — Герман насчитал на них двадцать три отростка.

Но мебелировка избы оставляла ощущение чего-то незавершенного, будто хозяева начали заменять устаревшие вещи новыми, но передумали. Были здесь и широкие старинные лавки вдоль стен, и современные полумягкие стулья с низенькими гнутыми спинками, и раздвижной, на поролоне, диван-кровать; рядом с громоздким посудным шкафом сверкал полированный сервант.

— О, да у тебя музшкатулочка есть! — воскликнул Герман, увидев в углу, на треугольном столике магнитофон «Орбита». — Покрутим?

— Для тебя, пожалуй, нет ничего интересного, — не сразу ответил Петр. — Я вепскую речь записываю, Сказки, предания, поверья...

Герман разочарованно присвистнул.

Петр закрыл тетрадь, положил ее на магнитофон и взял в руки большой том в сером переплете.

— Представляешь, какая штука, — заговорил он. — В этом новейшем академическом словаре некоторые вепские слова уже даны без перевода. Значения тех слов теперь никто не знает.

— Можно посмотреть? — Герман взял книгу. — Ничего себе талмуд! — Он уселся на диван поудобнее. — Никак не думал, что есть вепский словарь.

Петр сел рядом с Германом.

— Да, слова все-таки учтены. А вот с топонимикой хуже. Только в нашем крае десятки деревень, больше сотни озер, а сколько речек, ручьев, болот! Да что озе-

ра — заливы, мысы, горушки, полянки, пожни, перекрестки дорог — все имеет названия.

— Понятно. И ты их записываешь?

— А как же! Ведь многие названия чрезвычайно интересны. Была, к примеру, деревня Няльг-ранд, что означает Голодный Берег. Или озеро Лахн-яр — Лещевое. Хотя в нем никакой рыбы, кроме малорослых карасей, нет. Нетрудно догадаться, что когда-то водились и лещи. А то есть ручей Кивикерк. Это даже трудно перевести — что-то вроде «ручей, выстланный круглым камешником». Но теперь там и камень-то трудно найти, все затянато илом и мхом. Значит, название ручья очень давнее, когда ручей бежал по камешкам. И таких примеров я мог бы привести десятки. С другой стороны, ученым иногда лишь по топонимам удается установить, какой именно народ проживал в той или иной местности и вообще каково прошлое края. Разве не интересно? Но топонимы забываются, теряются, вот я и записываю их.

Герман, терпеливо выслушавший этот монолог, усмехнулся.

— Надо попросту колышки поставить, с табличками: деревня такая-то, озеро такое...

Петр порывисто встал.

— Я думал, тебе интересно, а ты какую-то ерундовину несешь!

— Я же пошутил! — засмеялся Герман. — Плохо я понимаю такие премудрости. Ты лучше скажи: на лодке кататься пойдем?

— Чаю попью, и пойдем.

— Вот и порядок.

В избу вошел Митрий. Увидев в руках Германа вепсский словарь, он хитровато прищурился, спросил:

— Не ладишь ли выучить?

— Ну что вы! Я только посмотреть.

— Дах ведь и я нарочно говорю, — добродушно признался старик и сел на лавку. — Погоди, вот с сеном управимся, дак и тебе веселее будет. С ребятишками за ягодами ходить станешь, рыбу ловить, грибы собирать. На Муна-мяги Петька тебя сводит — там татарский хан захоронен...

На ужин собиралась вся семья. Прошмыгнул в кух-

ню с пучком зеленого лука белоголовый Колька, появились Иван и Нюра. Последней вошла Катя. Она вошла свободно, как хозяйка, без тени смущения на смуглом лице, и Герману показалось, что в избе стало светлее.

— Садись-ко, Герман, поужинай с нами,— сказала Нюра.

— Спасибо, я ужинал.— Он не утерпел и еще раз скользнул взглядом по лицу Кати.

Темные, плавно изогнутые брови, аккуратный прямой нос, немного крупноватые, чуть вздутые губы — лицо как лицо, ничего особенного. Но в нем, как и во всей фигуре девушки, была непередаваемая скрытая прелесть, спокойствие и достоинство.

— Дак ты сядешь к столу али нет? — Это уже голос Митрия.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Честное слово, я сыт.

— Ну и леший с тобой! — махнул рукой старик.— Был бы потчеван.

— Ты чего так? Ведь человек обидеться может! — упрекнула Нюра свекра.

— Пускай не ломается, когда угощают.

Герман листал словарь и не прислушивался к разговору за столом, но вдруг до его сознания дошла фраза, сказанная Петром:

— Пусть едет. Мы и без нее обойдемся. Погода хорошая, спешить не придется.

Герман насторожился: о ком говорят? Кто должен ехать? Куда?

— Ладно.— Иван глянул на Люську.— Дела справишь, и сразу обратно. Чтобы никаких кино.

— Я и не собиралась в кино! — Люська передернула острыми плечиками.

«Куда поедет эта девчонка? — гадал Герман.— Неужели в Саргу? А где еще может быть кино?...»

За ужином Петр ничего не ел, но ждал, когда мать начнет разливать чай. Выпив стакан крепкого чаю, он обернулся к старшей сестре:

— Пойдешь?

Герман понял, что речь идет о катанье на лодке, и ждал, что ответит Катя.

— Посуду надо помыть,—не сразу отозвалась та.— Люська спать ляжет. Ей рано вставать.

— Иди, иди,—сказала мать,—сама вымою.

Втроем они вышли на крыльцо.

— А вечерок-то сегодня удивительный!—воскликнул Герман.—Между прочим, как по-вепски «удивительный»?

— Никак,—ответил Петр.—Только описательно можно перевести. Или сказать проще: вечер очень хороший... Вообще в нашем языке мало эпитетов. Наверно, предкам некогда было любоваться красотами.

— Понятно...

Герман не смог бы объяснить почему, но в присутствии Петра он чувствовал себя скованно. Ему ближе были парни веселые, беззаботные. Петр же представлялся ему не по годам серьезным и деловым, слишком целеустремленным, что ли... Да и язык у него какой-то учительский — «описательно перевести», «мало эпитетов»... И уж вовсе казалось странным, что он использует магнитофон для записи каких-то преданий и сказок и не имеет ни одной ленты с песнями и легкой музыкой.

Когда подошли к лодке, Петр сбросил с себя трикотажный спортивный костюм и остался в одних плавках. Герман с восхищением и завистью оглядел его шоколадный загар.

— Ты как индеец!..

— Есть маленько! — усмехнулся Петр и деловито распорядился: — Катеринка на корму, а ты, Гера,—в нос. Сталкиваем! — и взялся рукой за борт.

Когда лодка оказалась на плаву, Петр взглянул на часы, сделал глубокий вдох и взмахнул веслами. Лодка дернулась и стала быстро набирать скорость; зажурчала рассекаемая килем вода. Герман почувствовал, что это уже совсем не такая, как утром, гребля, а настоящий спорт.

Петр греб мастерски, мощно, не сбивая дыхания. В рассчитанных движениях угадывалась большая натренированность. Ритмично ходили под темной кожей широкие лопатки, буграми переливались на плечах мускулы, пружинисто сгибалась и разгибалась сильная спина.

Герман смотрел на атлетическую фигуру Петра и, кажется, каждым мускулом ощущал свою слабость перед этим парнем. И было стыдно вспоминать, как сам сидел за этими веслами...

«Конечно, целыми днями на свежем воздухе. Да и столько времени тренируется», — подумал Герман, оправдываясь перед собой.

Катя сидела на кормовой скамеечке чуть вполоборота и задумчиво смотрела вдаль, за озеро, будто чего-то ждала оттуда. Герман тоже посмотрел в ту сторону.

Далеко-далеко, как хлопья пены, белели на зеркальной глади озера чайки. За ними, еще дальше, зеленел лесистый берег. Днем — Герман помнил — он был в синей дымке, а теперь зеленел одноцветно и сочно.

— Сплавать бы туда как-нибудь вечером, — Герман показал рукой на далекий берег, — половить рыбешку и высадиться. Ушицу сварим, покупаемся, анекдоты потравим... А?

— Все впереди, — ответил Петр. — Дай отсенокосничать, и твое предложение будет принято, как говорится, единогласно! — Он снял часы и подал их сестре. — А теперь, Гера, садись на мое место: плавать буду.

Очи поменялись местами. Петр встал на носовую скамеечку, обождал, пока лодка остановится, и упруго метнулся в воду.

Плыл он стремительно и красиво. Легко и свободно мелькали над водой загорелые руки. Зависть к этому парню, который и всего-то на два года старше, вновь шевельнулась в сердце Германа.

— И долго ли он так поплывет?

— Десять минут, — отозвалась Катя. — Потом я крикну, и он — обратно.

— А ты хорошо плаваешь?

— Не знаю.

— Отсюда до берега доплыла бы?

До домашнего берега было не менее километра — расстояние, в понятии Германа, очень большое; и хотя он считал себя неплохим пловцом и даже год посещал бассейн, преодолеть его вплавь никогда бы не рискнул.

— А чего тут плыть? Я через озеро плавала. Конечно, не одна, с Петькой или Мишей. Одной как-то... страшно.

— Здорово!..

— Мы же на воде выросли.

— Да, озеро у вас хорошее, — вздохнул Герман. — Замечательное озеро! Здесь бы только отдыхать, а вы вместо этого целыми днями на сенокосе.

— Что поделаешь? Такая работа.

— Эти стога, которые за деревней, все ваши?

— Наши. Но тут их немного. А сколько еще на лесных пожнях!

— На что вам столько сена? — удивился Герман.

— Почему — нам? Сено совхозное. Скота много, фермы большие, немало корму надо на зиму. Да ведь мы не вручную и косим — косилка есть, конные грабли. — Катя взглянула на часы, выждала немного, сложила ладони рупором и крикнула брату: — Вре-мя-а!..

И тотчас на этот крик отозвалось эхо сначала на одном, потом на других берегах; и долго еще звонкий девичий голос носился над тихим озером.

— Все равно тяжело, — заключил Герман. — И вообще, работа работой, а ведь хочется и отдохнуть, и на танцы сходить, в кино...

— А я, между прочим, не люблю танцев. Мы ходили с девчонками в Дом культуры... Мне там не нравится. Новых танцев толком никто не знает, старые не в моде... Топчутся, кто как умеет. Неинтересно!..

— Если так — конечно, — согласился Герман. — А брат у тебя танцует?

— Петька-то? Ну что ты!.. — Катя даже улыбнулась. — Он у нас книжник. Все что-нибудь читает да пишет. Сейчас какую-то работу о вепсах готовит. В журнале обещали напечатать. Он и живет по режиму. Я его ученым сухарем называю.

Герман улыбнулся.

— Не обижается?

— Ему хоть бы что. Конечно, способности у него большие. В университете на повышенной стипендии... Сашка, младший, тоже способный, только не захотел в девятый идти. Ему направление от совхоза дали, вот и уехал в техникум поступать. На зоотехника.



— А ты куда собираешься?

— Я? — Она пожала плечами. — Никуда.

За спиной послышались всплески. Подплывал Петр.

— Как это куда? — удивился Герман.

Катя не ответила. Она смотрела на брата и будто не расслышала вопроса.

Медленно, отдыхая, Петр проплыл вокруг лодки и проворно влез в нее.

— Ну ты и даешь!.. — покачал головой Герман. — Наверно, разрядник?

— До мастера трех секунд не хватило. Представляешь, какая досада? Вот я и хочу эти секунды за лето сбросить.

— Тебе хорошо — тренироваться можно. А мне?.. Искусственного льда здесь нет.

— Коньки?

— Фигурное катание.

— О!.. — Петр уважительно посмотрел на Германа. — Сам я на коньках в жизни не стоял, а фигурное катание люблю смотреть больше хоккея... И какой разряд?

— Первый.

— Ух ты!.. В республиканских участвовал?

— Нет. Пока нет. Но в эту зиму надеюсь.

Пока плыли к берегу, Катя не проронила ни слова. Она опять сидела вполоборота и смотрела за озеро. Лицо ее было грустным.

13

Люське шел четвертый год, когда отец впервые, играючи, посадил ее на мягкую спину Орлика. Сияющая от удовольствия девчушка вцепилась всеми десятью пальцами в холку лошади и задргала ножонками.

— Пусти, не держи!.. Я сама!

— Упадешь — не хнычь, — сказал Иван и отошел.

К той поре понятливый мерин уверенно носил на себе удалую маркеловскую ребятню, но тут почувствовал, что седок слишком уж легок — он чем-то напоми-

нал ласкающую ладонь хозяина, и Орлик не решился тронуться с места.

— Но, но!..— кричала Люська, теребя жесткую холку.— Тяпай! — и пыталась колотить пятками по бокам лошади, как это делал старший брат Мишка.

Орлик покосился на нее фиолетовым глазом и осторожно шагнул раз, другой, третий... Люська завизжала от восторга.

— Тяпай, тяпай!..

Мерин перешел на рысь. Он бежал необычно, мягко и плавно переставляя тонкие ноги, но все равно Люська медленно сползала с его гладкой спины. Тогда Орлик остановился и, подгибая одновременно передние и задние ноги, начал ложиться. Когда пальцы девочки, онемевшие от напряжения, разжались, под ногами уже была земля...

С тех пор прошло десять лет.

Все маркеловские ребята очень любили Орлика, берегли его, чистили и купали в озере, открыто, а чаще тайком давали ему лакомые кусочки — то отломят пирога, то целую калитку¹ скормят, то угостят сахаром или конфеткой. За все это Орлик платил безупречным послушанием. Стоило свистнуть, и он галопом спешил с пастбища. Но любовь его навсегда была отдана Люське. Ей, чтобы сесть верхом, не нужно было подводить мерина к изгороди. Она просто шлепала его ладошкой по груди, и мерин ложился...

К девяти годам Люська настолько уверенно держалась в седле и так умело управляла Орликом, что отец разрешил ей съездить в Саргу. Дело было не спешное и не очень важное — купить ламповых стекол, но оно требовало большой аккуратности в обратном пути. Люська справилась с ним блестяще. С той поры год от года девочка все чаще ездила в Саргу — за почтой, за продуктами, а на этот раз отец отправил ее за материей и посудой по заказу бабки Акулины.

В поездках бывало всякое: Люська попадала в бурю и в проливной дождь, не раз случалось, на дорогу выходил медведь, и тогда Орлик останавливался, при-

¹ Пресный, защипанный по краям сочень с начинкой. (Прим. автора.)

жав уши и нервно вздрагивая, и ждал, пока косолапый скроется с глаз, а потом стелющимся карьером пролетал место, где в воздухе еще держался леденящий лошадиную кровь звериный запах.

Было просто удивительно, как мог Орлик в такие мгновения настолько точно ощущать пространство, которое занимала припавшая к гриве Люська, что всегда благополучно проносил ее под нависшими над дорогой сучьями деревьев.

Изредка в пути встречались туристы — в последние годы они все чаще проникали в глухой кимьярский край. Еще издали, заслышав людей, Орлик поднимал голову, начинал прятать ушами, а завидев — тонко и коротко ржал, будто приветствовал. Но мимо незнакомых всегда проходил широкой пружинящей рысью, готовый в любой миг перейти на галоп.

И вот теперь, когда Орлик неожиданно вскинул голову и запрядал ушами, Люська поняла, что впереди человек. Она подобрала поводья, плотнее уселась в седле, глубже просунула в стремяна ноги. Орлик пошел быстрее и вдруг пронзительно и длинно заржал. Это было необычно. Люська смотрела во все глаза, но никого не видела.

«Уж не Мишка ли?» — пронзила радостная догадка. Она невольно сжала ногами бока мерина, пригнулась, и Орлик пошел в галоп.

По дороге навстречу действительно шел старший брат Михаил — высокая, немного сутуловатая фигура, неторопливая походка, — по лесным тропам и дорогам он ходил медленно, неслышным охотничьим шагом; и ружье за плечами, и большой зеленый рюкзак...

Орлик как вкопанный стал перед Михаилом, коротко всхрапнул и ткнулся мягкими губами ему в плечо. Люська спрыгнула на землю.

Они не виделись год, но поздоровались сдержанно, со стороны могло бы показаться, даже холодно: такая была манера всех Маркеловых — здороваться и прощаться без поцелуев, объятий и восклицаний.

— В Саргу?

Люська кивнула.

— Ну, ну... Поезжай. — Михаил гладил ладонью морду Орлика. — Узнал!..

— А как же! — Люська улыбнулась и потрепала мерина за гриву. — Ты рюкзак-то оставь здесь. Обрат-но поеду — привезу.

— Ладно. Дома все хорошо? Все здоровы?

— Ага. Сенокосничаем.

— Как дедко и бабка Тимошкины?

— Ой, бабка теперь бегом бегают! И дедко попра-вился. У них гости — сын приехал.

— Василий?! Смотри-ко ты... Конечно, старикам радость... А Туйко на цепи?

— На цепи. Вот обрадуется-то!.. С ума сойдет! — Люська вскочила в седло. — Ну, я поеду.

— Поезжай, поезжай. Счастливо!..

Михаил скинул рюкзак, положил его на обочину и налегке тронулся дальше.

«Правду говорят — в родном краю каждый кустик согреет. Даже тут повезло!..» — думал он, широко и мягко ступая по заросшему проселку.

...В два часа пополудни Михаил вышел к Кюндл-мяги — Горе Слез. Дорога, вынырнув из сырого при-болотья, потянулась вверх, к лесной кромке, за кото-рой угадывалась пустота кимьярского раздолья.

Метко окрестили люди гору. Сколько саней и телег разбилось здесь! Сколько слез пролили подростки и ба-бенки, когда возвращались с подводами из Сарги и ко-гда усталым лошадям не под силу оказывался крутой подъем!.. Перед войной собирались мужики сделать объездную дорогу, да не успели.

Справа, под горой, лежало озеро. Расплавленной лазурью разливалось оно — привольное, широкое, ве-ковечное. И эта лазурь под легким ветром струилась и бесконечно текла, сверкая под солнцем, превращаясь в густую прозрачную синь. И казалось, что эта синь столь же глубока, как и небо, и в ней есть все на све-те — и водяные, и кикиморы, и золотые рыбки, и тай-ные клады древних разбойников.

Зато с наветренной стороны озеро изумрудно сияло отражением высоких берегов. Там воздушно колыха-лись в мареве сизые увалы с темными деревеньками.

И всюду тишина. Тишина такая, будто этот дивный простор — озеро, леса, увалы, все, что доступно глазу, — накрыт стеклянным колпаком.

Мир красок, покоя и безлюдья представлялся настолько нетронуто первобытным, что Михаил бы не удивился, если б в эту минуту на озере вдруг появились долбленные челны с людьми, одетыми в звериные шкуры, с копьями и луками.

Озеро манило, звало чистотой и прохладой вод, и Михаил не устоял перед соблазном. Как в детстве, на ходу содрал прилипшую к потному телу одежду, швырнул ее на песок и побежал по мелководью. Брызги, поднятые выше головы, радугой вспыхнули вокруг него. Бежал, а потом брел до тех пор, пока вода не обняла тело. Тогда он раскинул руки, лег на спину и закрыл от наслаждения глаза. Он лежал, подставив лицо солнцу, и волны нежно расчесывали его волосы, смывали с висков соленую слезу.

Ким-ярь узнало его.

Тихо-тихо, чуть шевеля руками, Михаил плыл на спине и смотрел в небо. Он отдыхал. Ему казалось, что он мог бы покониться на этих родных волнах бесконечно долго — день, месяц, а может, целую вечность...

Над головой проскользила ослепительно белая чайка. Были хорошо видны ее черные глаза.

— Здравствуй, чайка, вольная птица! — крикнул Михаил.

«Кай-я!..» — отозвалась чайка и, сложив крылья, упала в воду. А когда взлетела, в ее клюве сверкнула пойманная рыбешка.

— Это что! Ты вот так попробуй! — И Михаил, перевернувшись через голову, нырнул в глубину.

Туйко лежал на завалинке возле своей конуры и в полудреме смотрел, как шустрые воробьи шныряют вокруг пустой миски. И напрасно старый воробей то и дело тревожно привставал на тоненьких ножках, чтобы поглядеть на пса: Туйко и не собирался разгонять воробьиное семейство. Он будто понимал, что подросшим воробьятам очень нужен хлебный корм, которым здесь, в Лахте, не так-то просто разжиться. Но когда молодой воробьишка прыгнул на край корыта с водой, намереваясь устроить купанье, пес припод-

нял голову и зарычал: купаться можно в любой луже или на озере, возле бережка, нечего поганить питье.

Воробьи мигом взлетели и с недовольным чириканьем расселись по стрехе. Туйко посмотрел на них, зевнул, широко раскрыв пасть, потом перевел взгляд на корыто с водой. Захотелось пить. Но вставать было лень, и он снова уронил голову.

Туйко шел седьмой год, но ему казалось, что он живет вечно и вся жизнь его — нескончаемое ожидание хозяина. Его никто не обижал, и был он всегда сыт. Людей, живущих в этом большом доме, он издали различал по голосам, по походке, по запахам и каждого из них всегда приветствовал радостным повизгиванием и неустанным помахиванием завитого в кольцо хвоста. Он лег бы костями, если б кто-нибудь посягнул на любого из этих людей, на любую вещь во дворе. И за каждым он с радостью пошел бы хоть на край света. Но по-настоящему, безраздельно он любил лишь одного, преданность которому была не просто долгом, а чем-то неизмеримо бóльшим — эта преданность была для Туйко вершиной собачьего счастья.

Запах того человека — запах истинного и единственного хозяина — он впитал в себя еще в тот день, когда месячным щенком, отнятый от матери, оказался за пазухой, в темном зыбком тепле. С этим запахом было связано не только начало новой жизни, но и все повороты судьбы, все самые острые ощущения и переживания: первое знакомство с тайгой и первый выстрел, первая облаянная в жизни белка и первая ночевка у костра в сузёме¹, первая встреча с крупным зверем и первая разлука. И еще море вольной жизни, которой Туйко не помнил, но она часто снилась ему, и он как бы повторял ее в своих снах.

За три года жизни на цепи Туйко, наверное, забыл бы этот разжигающий кровь запах хозяина и отдал бы всю полноту любви и привязанности людям, которые были рядом не в снах, а в реальной жизни. Но время от времени хозяин возвращался, и сны становились явью: опять была воля, тайга, азарт преследова-

¹ Сузём, сузёмье — лесная глушь. (Прим. автора.)

ния, выстрелы, теплая звериная кровь, ночные костры. А потом снова цепь и ожидание...

Зимой и летом, днем и ночью, даже во сне ни на мгновение не отключался слух Туйко, раз и навсегда настроившись на улавливание шагов хозяина и его голоса. И в любой миг он безошибочно выделил бы их из всех окружающих звуков.

Еще тараторили на крыше неугомонные воробьи, но уже привиделось Туйко в чутком собачьем сне что-то тревожно-радостное... И вдруг мелкая дрожь прошла по телу собаки. Туйко поднял голову, наострил уши, затаил дыхание. Нет, это не сон! Он вскочил, громыхнув цепью, и замер, не дыша. Вот еще один шаг, еще... Кровь ударила в голову, радостный вопль застрял в горле, и Туйко со сдавленным стоном рванулся навстречу шагам.

Натянувшаяся цепь с жестокой силой осадила его. Пес перевернулся в воздухе, упал на бок и вновь ринулся вперед. Цепь не пускала. Тогда он взвился на дыбы и, весь трепеща от восторга, завизжал, завыл, заплакал.

Нет, он еще не видел хозяина, и чуткий нос еще не улавливал того единственного запаха, но слышал, слышал шаги!

Михаил одним прыжком перемахнул изгородь и по грядкам, по спутанным плетям картофеля напрямик кинулся к изнемогающему псу. Он тискал его с жаром натасковавшегося в одиночестве человека, мохнатил густую шерсть, прижимался горячей щекой к морде Туйко. А тот, дрожащий, приглушенно стонал, тыкался мокрым носом в лицо хозяина, иступленно лизал его шею, подбородок, виски — все, до чего мог и успевал дотянуться жгучим, шершавым языком.

Он чувствовал, что руки хозяина нащупывают пряжку ошейника, но замереть хоть на мгновение не было сил. Когда же разомкнулся жесткий ремень, Туйко пулей обежал двор, бросился на грудь хозяина, сшиб его с ног, и оба, человек и собака, покатались по траве. А с крыши смотрели на них притихшие воробьи.

Посреди прихожей, напротив входной двери, лежал старый кот Рыжко. Он выпялил на Михаила круглые зеленые глаза, вскочил и шмыгнул за печь. И пока Михаил оглядывал избу, вешал на стену ружье, а потом, задумавшись, сидел на диване и курил сигарету, два немигающих глаза призрачно светились в темном углу.

Волнение, вызванное бурной встречей Туйко, схлынуло, и теперь Михаил наслаждался тихой радостью, что снова видит родную избу, что впереди встреча с отцом, матерью, дедом, братьями и сестрами, что опять есть возможность бродить по заветным тропам сузёмья, с замиранием сердца спешить на призывный лай Туйко и отдыхать под звездным небом у ночного коистра.

Но вместе с тем на душе было тревожно. Все-таки в жизни сделан слишком крутой поворот. Чем он обернется? Что принесет?..

— Поживем — увидим, — вслух сказал Михаил и поднялся.

С запоздалым сожалением он подумал, что не спросил у Люськи, где сенокосничает семья, и вышел в сени. На длинной полке в ряд белели стеклянные банки с молоком. Когда-то мать разливала молоко в глиняные горшочки и ставила их в печь. Это топленое молоко Михаил очень любил. Но с тех пор, как разбился последний горшочек, он пил только свежее. Отыскав по тонким сливкам утреннее молоко, Михаил опорожнил литровую банку и вышел на крыльцо. Туйко опять начал восторженно прыгать ему на грудь и лизаться, но Михаил жестко осадил пса за холку:

— Хватит. Уймись!..

Из дома Тимошкиных кто-то смотрел в кухонное окно.

«Наверно, бабка, — подумал Михаил. — Зайти, что ли, поведать стариков!..»

Он прислонил к двери палку и направился к соседям. Лицо в кухонном окне тотчас пропало, и через минуту на крыльце появилась Акулина. Она улыба-

лась каждой морщинкой, и глаза ее смотрели молодо и весело.

— Здравствуй-ко, Мишенька! — Старуха низко поклонилась. — Думала, кто это через огорода скочил да к собаке побежал, а на-ко вот!..

— Ты, Матвеевна, вроде на десять годов помолодела!

— Ой, не говори-ко! — Она приблизила к нему сияющее лицо и полупшепотом сообщила: — Ведь Василий в гостях, еще и с внуком!.. Поди в избу-то, поди! — Она подтолкнула его сзади.

Михаил вошел в дом, и ему радостно было пожать заметно окрепшую руку Кирика Савельевича. Он так же уважительно поздоровался с Василием Кириковичем и Германом и опустил на лавку. Акулина немедленно взялась за самовар.

— Не хлопочи, бабушка! Я только что молока напился.

— Ну, молока! Как же без самовару? Ты ведь с дороги, да и мы еще чаю не пили. Садись-ко пока да хвастай, как живешь. Не женился?

— Какая женитьба! Все место себе ищу.

Акулина налила в самовар воду, разожгла пучок лучины.

— Дак ты счас-то в Ленинграде али где?

— Уехал я оттуда. Совсем.

— Ну-у!.. — Акулина сунула лучину в самовар, приладила трубу. — А чего так? Али худо там?

— Не то что худо... Домой тянет, поближе к лесу.

— Раз уж смалу к охоте пристрастился, тянуть будет, — убежденно сказал Савельевич.

Герман хорошо помнил, как дед Митрий говорил о странностях в характере и увлечениях старшего внука, и теперь с интересом присматривался к Михаилу.

Внешне Михаил был очень похож на Петра — такой же светлоглазый, большеносый, скуластый. Но было в его лице что-то мужиковатое, не хватало той интеллигентности, которая уже успела наложить на будущего филолога свой отпечаток.

— По какой же специальности ты работал в Ленинграде? — спросил Василий Кирикович.

— Крановщиком. И на бульдозере недолго.

— Любопытно. Если тебя интересует лес, то и специальность следовало выбрать соответствующую.

— Это конечно,— согласился Михаил.

— Теперь-то куда ладишь? — спросил Савельевич.

— Не знаю. Вот отгуляю отпуск и посмотрю. Хотелось бы поближе к дому.

— Эдак, Мишенька, эдак! — одобрила Акулина. — Худо ли, когда от батьки да от матки недалеко!

Михаил закурил, помолчал, думая о чем-то своем, потом вдруг обернулся к Василию Кириковичу.

— Вот вы человек образованный, многое повидали... Раз уж такой разговор зашел, вопрос у меня будет... В общем, как вы считаете, есть у Ким-ярь перспектива?

— В каком смысле? В смысле освоения территории, что ли?

— Вот, вот!.. — кивнул Михаил.

— Безусловно, есть.

— Какая?

Брови Василия Кириковича сдвинулись: ему не понравилась поспешность, с которой был задан вопрос. Он помолчал, собираясь с мыслями.

— Перспектива есть уже потому, что со временем не останется ни одного гектара земли вне эффективного экономического использования. Но когда очередь дойдет до Ким-ярь, на это трудно ответить. Здесь нет полезных ископаемых, край чрезвычайно удален от железных дорог и промышленных центров, а сельскохозяйственное освоение этой земли даже с применением новейших камнеуборочных машин и корчевателей невозможно — нет людей.

— На целине тоже не было людей,— осторожно возразил Михаил.

— Верно. Но это несравнимые вещи. Там была готовая — подчеркиваю! — готовая для пахоты земля, земля очень плодородная, поэтому затраты на переброску рабочей силы и на строительство быстро окупались. А здесь что? Как выразился твой отец, не земля, а слезы, кафтанные заплатки!..

— Вообще-то, конечно... — Михаил вздохнул. — Ну, а почему бы не сделать здесь рыболовецкий колхоз или совхоз? У нас же столько озер!

— Озер много, а ценной рыбы нет. Разводить искусственно?.. Для этого заболоченные озера не годятся, а в проточных, скажем, в этом же Ким-ярь, трудно и, пожалуй, невозможно уничтожить сорные породы... Для рыбоводства есть более подходящие места.

— А если построить туристскую базу? — неуверенно предложил Михаил.

— Нереально. Базы мало. Пришлось бы строить сквозную автодорогу Сарга — Ким-ярь — Сохта. Это без малого сто километров. Так, кажется? А зачем? Здесь же, по сути дела, нечего смотреть!

«Ну и дает!.. Как третейский судья», — подумал Герман.

— Нечего? А хотя бы Черная и Белая ямы... Вода из них под землю уходит, целое озеро временами исчезает, а почему — никто толком не знает.

— Это интересно «диким» туристам, — усмехнулся Василий Кирикович, — а они ходят пешком, носят с собой палатки и в базах не нуждаются.

Вскипел самовар. Акулина тихонько, чтобы не мешать разговору, сняла трубу, заварила чай и опять встала возле печки, скрестив руки и с затаенным дыханием слушая мудреные речи сына.

— Хорошо. Есть еще вариант: заповедник.

— Заповедник? — Лицо Василия Кириковича ожило. — Это мысль! Природа края, конечно, интересна, но видишь ли, в чем дело... Заповедники, как научно-исследовательские учреждения, слишком дорого обходятся государству. Это же навечно изъятая из пользования земля и плюс большие затраты средств без материальной отдачи. Я очень сомневаюсь, что в данном случае расход был бы оправдан той незначительной ценностью, которую может иметь этот край для науки.

— Ну почему же! Здесь больше тыщи лет назад жила Весь. Остались курганы, есть кладбище поляков за Маслозерской согрой. А еще гора Муна-мяги...

— Мало. Для того чтобы открыть заповедник — мало! Нужно что-то уникальное, особо ценное — редкие виды зверей и птиц, рыб, растительности, памятники старины хотя бы.

— Но те же ямы — разве не редкость?

— Ради этих ям создавать заповедник? — Василий Кирикович улыбнулся. — Это же, молодой человек, несерьезно. Реальней иная перспектива. — Лицо его стало по-деловому строгим. — Если бы хозяйственное использование Ким-ярь зависело лично от меня, я бы прежде всего послал сюда экспедицию по исследованию запасов леса. Для леспромхоза база, вероятно, мала, но здесь вполне мог бы функционировать лесопункт с вывозкой древесины машинами. Если строить дорогу круглогодового действия невыгодно, можно организовать зимнюю вывозку по временным дорогам. Устройство таких дорог не требует капитальных затрат. Это, по-моему, самая реальная перспектива.

Идея лесопункта не увлекла Михаила. Он угрюмо спросил:

— Ну, а потом что, когда лес-то будет вырублен? Василий Кирикович развел руками.

— Ввиду отдаленности территория эта пошла бы под естественное лесовозобновление. Проводить лесопосадочные работы по условиям грунта и рельефа едва ли оказалось бы возможным.

Почувствовав, что разговор закончен, неслышно задвигалась по избе Акулина — начала накрывать стол к чаю. А Савельевич все еще сидел не шелохнувшись и с трепетным уважением взирал на сына немигающим глазом. В эти минуты Василий Кирикович представлялся ему недостижимо мудрым и таким большим человеком, что старик был готов усомниться — а правда ли, что это его, Кирика, сын?..

Чтобы не обидеть стариков отказом, Михаил все-таки сел к столу. С минуту он задумчиво смотрел, как Акулина разливает по стаканам крепкий пахучий чай, потом перевел взгляд на Василия Кириковича, невесело улыбнулся.

— Вот ведь как получилось в моей жизни!.. Не уехали мы отсюда в свое время, и теперь, где ни живу, меня сюда тянет, к нашим лесам, озерам. Привык я к ним. Когда мы, ребяташки, оказались в Ким-ярь одни, нам все было так интересно! Пойдешь на рыбалку — все заветные местечки наши, ягоды и грибы в лесу — наши, ночные костры тоже наши. С какой радостью мы пасли телят, ходили на сенокос, ловили

рыбу, катались на Орлике!.. А после восьмого класса я собаку завел, охотой занялся. Три года до армии пролетели — моргнуть не успел.

Герману казалось, что он хорошо понимает Михаила, его душевное состояние. И он сказал:

— А ты оставайся здесь. Ваши-то живут...

— Живут... А если мне работа нужна? Не какая-нибудь, а чтоб по душе? — Михаил вздохнул.

— Да, найти свой путь в жизни нелегко, — согласился Василий Кирикович, — очень не легко! И сестра у тебя тоже еще не определилась?

— О ней-то что говорить!.. Катька — девка. Для нее все это, — Михаил сделал круговой жест рукой, — как молодой утке старое гнездовье. Куда замуж выйдет, там и будет вить гнездышко.

Василий Кирикович хотел было возразить, что для девушки выбор профессии не менее сложное и тонкое дело, чем для юноши, но промолчал: слишком уж примитивными и ограниченными представились ему рассуждения Михаила. Герману же такое сравнение показалось настолько грубым и обидным, что интерес к Михаилу мгновенно пропал и исчезло всякое желание продолжать разговор.

15

После долгой и трудной беседы с Василием Кириковичем Михаилу хотелось побыть одному, и он отправился по Сохтинской дороге. С этой дорогой у него были связаны воспоминания о той светлой поре детства, когда появился Орлик и можно было галопом мчаться мимо пустых домов и полей, не опасаясь, что кто-то грубо окликнет: «Чего попусту лошадь гоняешь, шельмец!..» С замиранием сердца проносился Мишка по гулкому мосту через широкий ручей Вилуоя мимо таинственной водяной мельницы, где работал белый от мучной пыли, похожий на колдуна дед Семен, а потом шагом подъезжал к белокаменной церкви, привязывал лошадь к какой-нибудь могильной оградке и карабкался по прогнившим ступеням колокольни.

Оттуда, с высоты, открывался широкий вид на озеро, на деревни, лепившиеся по его берегам, и далеко был виден синеющий лес, которому, казалось, нет ни конца ни краю. И когда он смотрел на север, в сторону Сохты, думалось, что именно за тем лесом, далеко-далеко, живут сверстники. А он — здесь, и они не знают, что он смотрит сейчас в ту даль и вспоминает их. От этого становилось немножко грустно...

Мост через ручей был еще крепок: по нему два раза в год — весной и осенью — проходит откормочный гурт, и отец время от времени заменяет прогнившие бревна настила. Зато плотину вешние воды размывали начисто. Они подрывали фундамент мельницы, ставленной всем миром, и это высокое мрачное строение беспомощно накренилось, готовое вот-вот рухнуть. Михаил подумал, что, когда мельница обрушится, паводок унесет бревна в озеро, и долго они, эти кондовые смолистые бревна будут плавать по Ким-ярь, перегоняемые волнами и ветром от берега к берегу, пока не наволгнут и не обрастут зеленым илом. Потом они затонут, их засосет в песок, а ручей опять станет таким, как лет триста назад, когда люди еще не умели ставить водяных мельниц...

На берегу мельничного пруда, возле самой плотины, белела в траве половина жернова — большущее каменное колесо, утеха былых кимьярских силачей. Мальчишкой Михаил очень любил сидеть с удочкой на этом камне — все мечтал выловить огромного окуня, который, по словам мельника, жил в омуте перед плотиной. Случалось, он вытаскивал с шестиметровой глубины такого горбача, что все ахали, и только мельник, поглаживая бороду, усмехался: «Не тот. Тот много больше!..»

Давно это было. Тайной осталось, шутил старый мельник над доверчивыми мальчишками или в самом деле в омуте жил окунь-великан, но для Михаила это место осталось тем заветным и памятным кусочком земли, о котором он не раз и не два вспоминал все эти годы.

Михаил опустил на камень, задумался.

Еще никогда жизнь не ставила перед ним столько сложных вопросов, как в этот приезд. До при-

зыва в армию он вообще мало задумывался над будущим. Оно рисовалось ему просто: после демобилизации уедет в город, как уезжали многие кимьярские парни, тем же путем покинут Лахту младшие братья, разъедутся сестры; потом отец и мать выйдут на пенсию и переедут к кому-нибудь из детей — все столь же естественно, как смена времен года.

Служба в армии, когда он впервые познал тоску по земле детства, хоть и поколебала этот взгляд, но не настолько, чтобы он изменил свое решение. Отсчитывая по календарю дни, оставшиеся до демобилизации, он мечтал о том, как приедет домой на побывку, как на утренних зорьках будет рыбачить на туманных озерах, уйдет с Туйко за глухарями на болото, а еще будет метать в стога пахучее сено и в ночную пору пасти телят. Так пройдет месяц, а потом — прощай, Кимьярь, и здравствуй, Ленинград!

Но все оказалось сложнее. Город напоминал о Кимьяре на каждом шагу. Слетит на тротуар воробей — и Михаилу вспоминается, что в Лахте воробьи выводили птенцов за резными наличниками окон, а на зиму обживали скворечни; увидит на берегу Невы мальчишку с удочкой, и сердце замрет от воспоминания, как ловил окуней у мельничной плотины; упавший к ногам желтый лист напоминал золотую пору, когда в Маслозерской согре поспевают брусника и из-под самых ног тяжело поднимаются на крыло взматеревшие глухари. А когда случалось видеть человека с собакой, в памяти тотчас всплывал Туйко, картины былых охот лепились друг на друга, и Михаил ходил, как сомнамбула¹, работа не шла на ум.

Вот тут-то и стали вкрадываться в душу первые сомнения: не ошибся ли, что устроился в городе? Может, лучше было остаться на земле? И вот теперь, прежде чем приехать домой, Михаил побывал в Хиймьяре. Та поездка свежа в памяти, будто он и сейчас еще там, а не дома.

Он видел широкие хиймьярские поля, разметнувшиеся по сторонам укатанной шоссейки, видел дома — просторные, светлые, видел кирпичные постройки жи-

¹ Лунатик.

вотноводческого комплекса, типовые совхозные мастерские и гаражи и понял: здесь уже иная, современная, почти городская жизнь.

Правда, кимьярские старики скорбели о своих оставленных избенках, ударялись в сентиментальные воспоминания, тосковали по озерам. Люди среднего поколения тоже, конечно, помнили свои деревни и озера, помнили заветные места в далеком лесном краю. Но все это было для них не более, как светлое воспоминание детства, которое ушло, как и положено ему уходить. Новая жизнь была богаче, содержательнее, до краев заполнена делами и заботами. У всех были семьи, хорошие дома, у всех — достаток. И, кажется, никто из земляков уже не помышлял об иной жизни, и не было нужды вспоминать и сожалеть о прошлом.

Усатый здоровяк Афанасий Прохоров, у которого Михаил остановился на ночлег, бригадир строительной бригады, так и сказал:

— Было время, Ким-ярь устраивало наших отцов и дедов, но времена те прошли. Жизнь течет, все изменяется. И я, к примеру, ни о чем не сожалею и судьбой доволен.

Они сидели в его большой, светлой горнице, обставленной великолепной мебелью, пили чай из электрического самовара, и в искренности Афанасия Михаил не сомневался. Но он все-таки возразил:

— Ты забываешь главное: Ким-ярь — это родина, твоя родина, моя...

— Патриот!.. — усмехнулся Афанасий. — Только не той меркой родину меряешь. Больно мала она, твоя мерка. Так что не стоит тратить красивых слов.

Даже сейчас, вспоминая тот разговор, Михаил почувствовал, как стало гореть лицо. Прав был Афанасий, тысячу раз прав! Для него, как и для всей кимьярской молодежи, Хийм-ярь явилось воротами в большую трудовую жизнь.

Именно от Афанасия Михаил впервые узнал, что инициатором переселения был не кто иной, как его, Михаила, отец, в ту пору бригадир передовой кимьярской бригады.

— Тогда сам-то он почему не переехал сюда? — удивился Михаил.

— А зачем ему было переезжать? Ведь отгонное пастбище для откорма молодняка — тоже его идея. Вот сам и занялся этим делом. От кимьярской земли еще никогда не было такой большой отдачи, какую она дает теперь.

О цели своего приезда в Хийм-ярь Михаил так и не сказал Афанасию: не хотелось говорить о своих сомнениях и неустроенности...

Михаил положил руку на голову Туйко, который лежал возле его ног.

— Вот так-то, дружище! — произнес вслух. — Что же мы с тобой делать-то будем, а?

Пес повернул голову, посмотрел хозяину в глаза, вильнул хвостом.

— И ничего-то ты не понимаешь в нашей человеческой жизни! И меня не понимаешь. Меня, брат, никто понять не может. Никто, кроме Сашки...

Михаил вспомнил, как минувшим летом, после возвращения из армии, он ходил с младшим братом Сашкой на рыбалку, на лесное озеро. Была белая ночь. Горел костер, но казалось, что неяркий трепетный свет излучало все вокруг — озеро, острова, желтые стволы сосен на берегу, дымная от росы трава, замершие в безветрии листья деревьев. Перекликались кукушки, то ли между собой, то ли с эхом, сверчком нескончаемо верещал козодой. А они с Сашкой молча лежали у костра и зачарованно смотрели на озеро.

Дивный простор открывался их взору. Недвижная вода, темная у берега, чуть дальше мягко голубела, затем голубизна переходила в светящуюся розовость, а где-то от середины озеро сияло золотистым разливом. Потом спустился легкий туман, дальний берег растаял, и озеро сомкнулось с зарею, охватившей всю северную половину неба. И почудилось, что никакого озера нет, а берег — не что иное, как край земли, за которым простирается сама небесная твердь. Сашка тихо сказал тогда:

— Ты хочешь уехать в город... А ведь ты не сможешь жить... без этого...

Михаил ответил:

— Два-то года жил!

— То в армии. А теперь... Я бы, наверно, не смог.

И Михаил почувствовал, что это не минутный порыв подростка под впечатлением белой ночи. Он понял, что для Сашки невозможна разлука с этой землей.

Но Сашка нашел для себя верный путь. Вот кончит техникум, и ему как зоотехнику по штату положено быть при отгонных пастбищах. И все у него получится хорошо...

Солнце уже повисло над лесом, наступил вечер, а Михаил все еще сидел на мельничном колесе...

16

В полосатой пижаме, в мягких домашних туфлях и широкополой шляпе Василий Кирикович прогуливался по Лахте. Унылый вид заколоченных домов уже не вызывал в его душе неприятных ощущений: в былые времена целые города исчезали с лица земли. Для отдыха это даже лучше, рассуждал Василий Кирикович, ни шуму, ни пыли. И очень хорошо, что нет любопытных глаз, нет надоедливых вопросов и никому не надо объяснять, почему он так долго не навещал родной край. Да и ходить по деревне, по этой чистой мягкой траве вот так, по-домашнему,— одно удовольствие.

Напротив дома Маркеловых Василий Кирикович остановился. Уверенный в том, что соседи всей семьей на работе и его никто не может видеть, он с откровенным интересом рассматривал усадьбу Ивана.

Дом что надо — высокий, на цементированном каменном фундаменте. Матерые бревна подрубки из трех венцов, сделанной, видимо, в прошлом году, просмолены, крыша из аккуратно подогнанного шифера. Под общей крышей с домом — сарай, тоже просторный и прочный, с обновленным въездом для лошади. Близ сарая амбар, баня, колодец с воротом. Тут же телега, волокуши; к стене прислонены сани и подсанки.

«Хозяйство, как прежде у кулака,— подумал Василий Кирикович.— На что ему цивилизация?..»

Он хотел было двинуться дальше, но дверь дома

Маркеловых неожиданно отворилась, и на крыльцо вышел дед Митрий.

— Здравствуй, Кирикович! — поклонился старик и спросил по-вепски: — Чего же издали смотришь, не зайдешь?

Василий Кирикович, будто его застигли за непристойным делом, смутился.

— Вот смотрю — хороший у вас дом. Не то что наша развалюха.

— В старопрежние-то времена по дому да по упряжи хозяина судили.

— Иван — хозяйственный мужик. Да и в силе.

— Да ты заходи на беседу-то! Чего через двор кричать? Один я!.. — уже по-русски пригласил Митрий.

Этот щуплый старикашка был неприятен Василию Кириковичу, но отвергнуть приглашение он не решился. Сели на крыльцо, в тени. Дед свернул самокрутку, глянул на забинтованную руку Тимошкина, спросил:

— Чего с рукой-то?

— Так, пустяки. Заживет.

— Ну и слава богу. А я вот захворал. Спину ломит. Должно, погода переменится.

— Плохо, если дожди пойдут.

— Почто плохо?

— Ну как же! В хорошую погоду и настроение хорошее.

— Это правда. Только, вишь ли, понятие у нас с тобой разное: тебе солнышко хорошо, а нам — дождик.

— Но вы же сенокосничаете!

— День-другой мокрый сенокосу не помеха. А земля пересохла, картошка не растет, трава худая стала. Да и по грибочкам соскучились. Теперь дождик — великая радость!

— Вчера я с твоим старшим внуком беседовал, — сказал Василий Кирикович, желая сменить разговор. — Жалко парня, ошибся в жизни.

Маленькие глазки Митрия тревожно блеснули.

— Это Мишка-то ошибся? В чем?

— В жизни. Не свою дорогу выбрал. Ему, видно, никто вовремя не подсказал, не помог... Конечно, мы

пробивали себе дорогу сами, а нынешняя молодежь не такая. Нам за них приходится думать, на путь наставлять.

— Погоди, погоди, я чего-то не пойму, — растерялся Митрий. — Про Мишку-то ты чего говоришь?

— Что тут непонятного? Его лес привлекает, а он выучился на крановщика.

— А-а... Это правда.

— Ему бы лесорубом работать.

— Э, нет!.. — Митрий потряс бородой. — Мишке — лес рубить? Да он и деревину-то тюкнуть топором жалует!

— Тогда лесоводом. В общем, нужно было выбрать специальность по душе.

— Вот те ёрш!.. — Митрий хлопнул ладошкой по острому колену. — По душе... Будто это рубаха какая, поглядел да и выбрал. Мишка — мужик, крестьянин. Его дело — на земле сидеть.

— Если так, пусть в колхоз едет, — усмехнулся Василий Кирикович. — На селе, где ни возьми, везде нужны люди. В любом месте с радостью примут. Парень здоровый, работать может.

— Как у тебя все просто!.. — вздохнул Митрий. — Да ежели душа-то его к этой, к родимой земле тянется!

— Ну, это прихоть, каприз.

— Вон как — каприз? А ты у своих отца-матери спроси, каково им будет с родимой-то земелькой прощаться. А ведь страсть глядеть было, как они горюшко мыкали.

— А чего им прощаться? Зачем? — насторожился Василий Кирикович.

Митрий встретил его холодный взгляд и вдруг понял: Василий приехал не за отцом и матерью, а только лишь в гости, поживет и снова уедет, и старики как были одни, так и останутся.

— Жалко мне тебя, Васька. Ей-богу, жалко!.. — покачал головой Митрий. — До того дожил в далеких-то краях, что и душа у тебя задубела!.. — Он тяжело поднялся и побред к себе в избу.

Василий Кирикович не оскорбился, слова деда Митрия даже не задели его. Разве может понимать

этот убогий старик его, Василия Кириковича, душу?! Просто смешно. Смешно и грустно. Прожить век, никем не замеченным, никому не известным, не видеть в жизни ничего, кроме своей деревнюшки,—незавидная судьба. А рассуждать хочется. Хочется казаться если не умнее других, то хотя бы не глупее...

Василий Кирикович с грустью подумал, что судьба отца и матери тоже ничем не краше. И их жизнь прошла в стороне от стрелы — не всем же быть на виду! Но отец и мать понимают это и никогда не пытаются казаться иными, чем они есть на самом деле. И это хорошо. Сохранить скромность и реальное восприятие собственного значения до преклонных лет — такое удастся не всякому...

Около дома с какими-то досками и кольями возились Герман и бабка Акулина. На завалинке сидел Савельевич и шоркал напильником по зубьям ржавой ножовки.

— Вы что тут делаете? — удивился Василий Кирикович.

— Это не я, это Гермáнушко затеял! — будто оправдываясь, ответила Акулина. — Дверку, говорит, сделаю в огород за картошкой ходить. А мне бы и так ладно, я и между жердочками добро пролезаю...

— Дверку? Как же ты ее хочешь сделать? — спросил Василий Кирикович у сына.

— Очень просто. Вот здесь колья забью, — Герман показал на изгородь в метре от угла дома, — концы жердей отпилю и навешу дверку. Удобно будет ходить!

— Чтобы дверь навесить, надо столбик врыть. Это во-первых. А во-вторых, где ты возьмешь дверь?

— Вот я и делаю ее. Сколочу доски — и готово.

— Какая же это будет дверь? — усмехнулся Василий Кирикович.

— Такая и будет. Ведь не в избу. Лишь бы открылась.

— Правда, внучек, правда, — кивнула Акулина.

— Что ж, делайте. Посмотрю, что у вас получится. — Василий Кирикович сел на завалинку рядом с отцом. — Пилка-то у тебя очень уж ржавая. Почистить бы надо...



— Даром. Четыре-то жерди перепилить — немного и работы. Поточу маленько — и ладно. — Старик потрогал желтым пальцем зубья ножовки и опять закрипел напильником. — Было ведь у меня, Вася, много всякого струмента, хороший был струмент — пилки всякие, рубанки, пёрки... А рук-то не стало, дак я все роздал. Которое Степке Кагачеву в Сарь-ярь, которое Маркелам... А чего же? Струмент работу любит, а без работы его ржа источит...

— Гера! Кто же так топор держит? — воскликнул Василий Кирикович, заметив, что сын взял топор, как левша. — Правой рукой всегда берись ближе к середине, а левой — за конец топорщика.

— Знаешь что?.. — сверкнул глазами Герман. — Шел бы ты лучше отдыхать. Как умею, так и работаю.

— Пускай делает, — миролюбиво заметил дед. — Подержится за топор, дак сам разберется, как ему лучше...

Василий Кирикович глянул на высокое солнце, зевнул:

— А что, пожалуй, в самом деле пойду прилягу.

— Поди, Вася, поди. Отдыхай...

К вечеру калитка в огород была готова. Вместо пружины, чтобы она всегда была закрыта и в то же время легко открывалась, Герман прибил к ней подошву от старого кирзового сапога.

— Вот ты как ловко придумал! — удивлялась бабка сметливости внука, пробуя открывать и закрывать калитку. — До чего добро-то!..

— Конечно, не очень красиво получилось, — улыбнулся Герман, оглядев свою работу.

— Что ты, что ты!.. — замахала руками бабка. — Лучше уж некуда. Эдакие воротца!..

Дед тоже похвалил внука.

— Хорошо сделал, — сказал он убежденно. — В огород ходить такие и надо. Без столбиков...

Под крышей сарая, в высоком полутемном углу, в гнездышке, слепленном из грязи, травинки и перышек, пара ласточек вывела птенцов. Когда птенцы появились на свет и сколько их было, Герман не знал, но с каждым днем они пищали все громче, требуя корма, и все больше доставляли хлопот взрослым птицам.

Утром, проснувшись от этого писка и щебета, Герман долго наблюдал, как ласточки поочередно стремительно влетали в узенькое сарайное оконце, осторожно присаживались на краешек гнезда, кормили птенцов и торопливо улетали на улицу, чтобы через минуту-две опять появиться в сарае с новой порцией корма в своих тонких клювиках.

— До чего неугомонные птицы,— проворчал Василий Кирикович, приподняв с подушки голову. Он увидел, что Герман тоже не спит, и добавил:— И тебе-то отдыхать не дают. А утром, между прочим, самый полезный, самый здоровый сон.

— Я уже выспался! — Герман проворно вскочил и стал натягивать брюки.

— Но время еще только седьмой час! Может, тебе нездоровится? — с беспокойством сказал отец.— Голова не болит?

— Спи,— сдержанно ответил Герман и вышел из сарая.

Он поймал себя на мысли о том, что ему день ото дня все неприятнее эти бесконечные поучения отца, его ленивые прогулки по Лахте с гордо поднятой головой, благодушные и самодовольное высокомерие, с которыми он держался в присутствии даже деда и бабки.

«Но ведь и дома он всегда был таким!» — подумал Герман. Однако там, дома, все это почему-то воспринималось иначе...

Уверенный в том, что старики еще спят, Герман осторожно, чтобы не скрипнуть, открыл в избу дверь. Дед, сгорбившись, сидел на лавке. В руке его дымилась сигарка.

— Доброе утро, дедушка! — довольно весело, чтобы скрыть смущение, воскликнул Герман.

— Доброе, внучек, доброе!..— мотнул головой Кирик Савельевич.— Чего тебе не спится?

— Не знаю. Наверно, в другие дни выспался. А где же бабушка?

— К Маркелам ушла.— Дед глянул в окно.— Вон уж обратно идет. Тебе, поди, самовар надо поставить? Али еще спать пойдешь?

— Нет, не пойду.

— Счас бабка распорядится... А что, у батьки рука-то вправду болит? — неожиданно спросил он.

— Там и болеть-то нечему!

— Не болела бы — не завязал.

Вошла Акулина. В руках ее была плетеная берестяная корзинка и литровая банка молока.

— Ой, Германушко вѣстал! — просияла она.— Не хочешь ли молочка? Самое свеженькое!

— Давай.— Герман не утерпел, заглянул в корзинку. В ней лежали окуни и плотицы, а поверх было положено несколько яиц и стояла пол-литровая банка с маслом.— Это все... от Маркеловых?

— От них. Откуда же больше,— ответила Акулина, наливая молоко в стакан.

— Покупаете, что ли?

— Покупаем. Да ведь Иванко недорого и берет — полцены. Пей молочко-то, пей!

Герман смотрел на корзинку с ободравшейся по краям берестой и молчал. Его поразило не то, что бабка покупает продукты у Маркеловых, а то, что сам он ни разу не подумал, откуда берутся в доме молоко, мясо, масло, яйца, рыба. Бабка готовила завтраки, обеды, ужины, он ел, часто просил добавку, а откуда все это — не задумывался, будто жил не в Ляхте, а дома, где, благодаря заботам все умеющей тети Даши, солянки, окрошки, бифштексы и прочие кушанья были столь же естественны, как вода в кранах или воздух в квартире.

— Значит, все это от Маркеловых...— рассеянно повторил Герман.

Акулина с беспокойством глянула на внука.

— Дак ведь ежели у самих нету... Была бы лавка, в лавке покупали бы.

— Ну, ну...

Герман не сомневался, что отец дал старикам денег, но все равно отчего-то стало неловко, неприятно на душе. Он отвернулся к окну.

— Поставь-ко, matka, самовар,— подсказал дед.

— Счас!..— Акулина подхватила берестяную корзину и ушла в кухню.

Герман видел, как Нюра Маркелова выпустила из хлева большую черную корову, блестящую и гладкую, пестрого теленка и целое стадо — не меньше десятка — овец. На крыльцо выбежали Колька и Люська. С хвостинками в руках они погнали всю эту живность улицей вдоль деревни. Герман догадался: на пастбище, к телятам.

Спустя несколько минут из дома вышли Иван, Михаил и Петр, за ними Катя. Тесной бригадой Маркеловы свернули налево, в проулок, и двинулись мимо заброшенных сараев к лесу, что темнел за Саргинской дорогой.

Савельевич, заметив, что внук пристально смотрит в окно, вытянул шею и из глубины избы тоже глянул на улицу.

— А чего Митрия не видать? — спросил он.

— Болеет,— отозвалась Акулина,— третий день болеет. При мне Иванко распорядился, чтобы дома сидел. А к телятам Люська да Колька пошли.

Герман же смотрел в окно, а перед его глазами все еще была берестяная корзинка с окунями и плотицами. Только теперь до него дошло, почему с таким старанием и упорством дед чинил старые сети. В самом деле: жить у озера, а рыбу брать у соседей!..

— Дедушка, расскажи, как сети ставить,— попросил Герман.

— Ставить-то просто,— восторженно воскликнул Савельевич,— да это показать надо. Разок бы поглядел и научился... Сетки концами между собой связаны, дак и всего дела-то — два кола воткнуть. К одному колу край привязал и спускай потихоньку, чтобы грузы не перепутались и чтобы сетка прямо ложилась. Один помаленьку гребет, а другой спускает. Когда всю спустишь, тогда второй кол воткнешь, привяжешь сетку, вот и вся работа.

— А колья длинные?

— Это — куда ставить. На глубокое место — подлиннее, на мелкое — короче.

— Вот чаю попью и попробую.

— А с батьком-то говорил?

— Пока не говорил. Да только вряд ли он пойдет.

— Ежели не пойдет, дак одному, смотри, нельзя. Сегодня еще и ветрено, а с сетками шутки худые... Да и местá знать надо. Без привычки одному никак нельзя! — заключил старик.

— Чего не дело-то говорите! — подала голос Акулина. — Как же не пойдет батько? В охотку на радостях пойдет!..

После чая Герман сходил в лес, вырубил четыре крепких березовых кола — два длинных и два покороче, потом наносил воды и дров и стал ждать, когда поднимется отец. Ободренный этими приготовлениями, дед еще раз, уже более подробно и обстоятельно, рассказал, как класть сети в лодку, как их привязывать и как спускать, чтобы они меньше путались и ровнее ложились в воду.

Но сборы оказались напрасными: как и предполагал Герман, Василий Кирикович не изъявил ни малейшего желания заниматься сетями.

— Удочкой ловить — это еще куда ни шло, — сказал он, — а сетями — неинтересно!..

— Дело не только в интересе, — заметил Герман. — Раз сети починены, чего они будут на гвозде висеть?

— А что им сделается? Пусть висят. Может, и пригодятся.

Герман вспыхнул:

— Сказал бы прямо, что не умеешь ставить! И озера боишься — как бы чего не случилось. — Он направился к двери, но обернулся и добавил: — А еще собирался на лесные озера меня сводить, у костра хотел ночевать... Смешно!.. — и вышел в сени.

Бабка Акулина, встревоженная таким разговором, поспешила выйти вслед за внуком. Она увидела, что Герман снимает с гвоздя сети, и порывисто схватила его за руку.

— Не надо, внучек! Одного на озеро не пущу.

— Не беспокойся, бабушка, ничего не случится!

— Не пущу! Кабы ветра не было...

— Но я же не поплыву далеко! Я у бережка... И сразу вернусь. Вам в окошко все будет видно.

Бабка заколебалась:

— Ну, ежели у бережка... Только, ради бога, потихоньку! И в лодке не вставай. Сиди на задней скамеечке и спускай тихонечко, лучше бы вдоль травок, а лодку и так ветром понесет... А то бы погодил до вечера. Митрий болеет, дак сетки-то Петька глядит. С ним бы и спустили...

— Нет, я лучше сейчас.

Герман взвалил сети на плечо, взял под мышку колья и направился к озеру. Он слышал, как отец строго крикнул, видимо, с крыльца: «Гера, сейчас же вернись!..» — но даже не обернулся.

Аккуратно, как учил дед, Герман опустил сеть грузилами на дно лодки, в корму, а поплавками на правый борт, положил колья поверх скамеечек к левому борту и не без труда столкнул дощаник на воду.

Ветер дул вдоль озера, и отплывать пришлось по боковой волне. Лодка раскачивалась. Это очень мешало гребле. Герман подумал, что хорошо бы поставить сети вдоль тех трав, где они с отцом удиили рыбу, но тогда пришлось бы плыть против ветра.

«Ну и что? — сам себе ответил Герман. — Зато обратно легче!..»

Отдалившись от берега, он развернул лодку против волны. Дощаник заюлил. Герман как ни старался равномерно заглублять весла, это ему не удавалось, и лодка рыскала по волнам то вправо, то влево.

Если бы из дому его не могли видеть, Герман, возможно, отказался бы от своей затеи плыть против ветра. Но он знал, за ним наблюдают и дед, и бабка, и, конечно, отец, и потому отступать не хотел. Он упрямо гнал лодку вперед, что есть силы налегая на весла. Так он греб долго, очень долго и несказанно обрадовался, когда весла вдруг стали поддевать плети рыжеватой травы.

Он не знал, те ли это травы, в которых удил отец, а может, другие? Какая разница! Важно, что они есть. А в травах и рыба должна быть.

Место оказалось не очень глубоким, но вязким, и причалить на короткий кол не удалось. Герман взял

другой, подлиннее, и глубоко вогнал его в дно. Убедившись, что кол держится крепко, он привязал к нему свободный конец верхней тетивы и сбросил за борт крайнее грузило, помеченное берестяной оплеткой. Лодку медленно сносило волнами. Сеть, шурша берестяными поплавками, заскользила в воду. Герман торопливо стал сбрасывать за борт грузила.

Сначала все шло хорошо: сеть сбегала плавно и было видно, что она уходит под воду прямой ровной стенкой. Но лодка, гонимая волнами и ветром, плыла все быстрее и быстрее, и Герман не успевал отдавать тетиву с грузилами. Сеть пошла наперекос. Стоило покрепче натянуть верхнюю тетиву, и лодка бы замедлила движение, сеть можно было бы выправить, но Герман не догадался сделать это. Чувствуя, что получается что-то не то, он растерялся, стал сбрасывать по два-три грузила одновременно и, хотя видел, что они перехлестываются, уже ничего не мог поделать. Когда с борта заскользил последний поплавок, Герман схватил свободный конец тетивы и обвернул его вокруг ладони. Сеть стала натягиваться.

«Только бы не оборвалась!» — мелькнула тревожная мысль.

Но тетива выдержала. Лодка остановилась. Свободной рукой Герман опустил кол в воду, воткнул его в дно и, как умел, закрепил снасть.

— Вот так!.. — с глубоким удовлетворением произнес он вслух. — Не боги горшки обжигают! И мы кое-что можем...

Герману очень хотелось знать, что скажет о его действиях дед, который, конечно, все видел, но в то же время не было ни малейшего желания опять выслушивать выговоры и наставления отца.

«Пойду лучше к Кольке и Люське!» — решил Герман.

Он вытащил лодку на песок и, будто не замечая, что отец ждет его на крыльце, берегом направился к пастбищу.

Телята отдыхали в березняке близ ручья. Люська, в белой косынке и в полинялом платье серовато-сиреневого цвета, слишком просторном по ее угловатой сухой фигурке, стояла на коленях возле рыжего теленка и что-то делала — похоже, гладила его или искала что-то в шерсти. Теленок лежал, сонно прищурив глаза, и лениво жевал жвачку.

Подстрекаемый любопытством, Герман осторожно, со спины, приблизился к девочке и увидел, что она держит в руке большую металлическую щетку и плавно водит ею по боку теленка от хребта к животу, чуть слышно напевая при этом одно и то же:

Маленький бычок, рыженький бочок,
Рыженький бычок, чи-истенький бочок!..

Герману стало неловко оттого, что он так близко подошел незамеченным, и он уж хотел отойти назад, но в это время девочка оглянулась.

— Наверно, это твой любимый теленок? — смущенно сказал Герман первое, что пришло в голову. Люська молчала.

— А ты молодец! Хорошо ухаживаешь за ними. Вон какие они чистые!

Что-то похожее на улыбку мелькнуло в настороженных глазах девочки.

— А где твой братишка?

— Он там, на берегу.— Люська кивнула в сторону ручья.

— Почему он тебе не помогает? Телят-то ведь много!

— Он тоже вычесывал,— и Люська возобновила прерванную работу.

— Ну ладно. Не буду тебе мешать. Пойду к Кольке,— сказал Герман и осторожно, чтобы не потревожить стадо, пошел к ручью.

Кольку он нашел на берегу на ровной площадке с чудом уцелевшей нетоптаной травой. Парнишка сидел у крохотного костерка и шевелил в углях березовой палкой.

Что-то располагающее было в его доверчивой улыбке и в широко расставленных ясных глазах.

— Здорово, мужик! — Герман подал ему руку.

— Здравствуй! — бойко ответил Колька, и оттого, что он протянул свою руку снизу вверх, короткий рукав рубашки задрался к плечу.

Герман расхохотался: на загорелой руке мальчишки, выше локтя, были пристегнуты часы.

— Ну и чудак!.. Кто же так часы носит?

— Они Петькины, часы-то... — ничуть не растерялся Колька. — У него рука толстущая, а у меня вишь какая! — и обхватил пальцами коричневое запястье.

Герман присел на корточки и увидел, что в углях лежат окуни с обгоревшими плавниками.

— А рыбу зачем в костер бросил?

— Я не бросил. Я пеку. — И мальчик стал переворачивать окуней березовой палочкой.

— Сам, что ли, наловил?

— Ага... А на Кривом колене щучину тащил. Здоровущую! Да леска лопнула... Там ведь глубоко, Петьку и то скроет. — Мальчик выгреб из костерка одного окуня, поперекидывал с руки на руку — горячий! — потом сточенным лезвием железного складешка поскреб обгоревшую чешую и вопросительно посмотрел на Германа. — Хочешь?

— Давай. За компанию. — Герман взял рыбу и лег в траву.

— Хлеба надо?

— Нет, я так попробую.

— Я печеную тоже без хлеба ем. — Колька приложил ладони к губам и громко крикнул: — Люсь-коо!.. Иди давай!..

— Значит, это у вас обед? — догадался Герман.

— Ага... Вот поедим, и надо телят в шестую загороду перегонять.

— Именно в шестую?

— А как же!

Герман не понял, что это за «шестая загорода», но выяснять ничего не стал и только спросил, не пасет ли телят Катя.

— Не, теперь не пасет, — покрутил белой головой Колька. — Пока не косили, дак ночью пасла.

— Ночью? Зачем?

— Ведь как же! Днем надо, и ночью надо.

— Но теперь-то вы по ночам не пасете?

— Теперь сено косим, дак телята сами в загороде пасутся. Всего у нас семь загород сделано. В одной три ночи держим, потом в другой, потом в третьей... А через три недели опять в первую загоняем. К той поре там снова трава вырастет. А сегодня шесть стогов сметать надо, так мы потому после обеда перегонять будем. Папка к трем часам велел на покосе быть.

— А сам он не пасет?

— Как же не пасет! Он и есть главный. До покосу пасет, пока травы мало, и когда сенокос кончим, опять он будет.

Пришла Люська. Она спустилась к ручью, помыла руки, потом взяла из-под куста хозяйственную сумку, расстелила у костра газету и выложила на нее нарезанный хлеб, две бутылки молока, свежие огурцы и полдюжину яиц.

— На!..— Колька протянул сестре пару окуней.

Она молча взяла рыбу и уселась поудобнее, поджав под себя ноги.

— А тебе надо? — Колька обернулся к Герману.

— Нет, нет, спасибо. Я только попробовал. Очень вкусно!

— Тогда хоть огурец возьми. У вас ведь огурцов нету.

— Отрежь половинку.

— А чего резать? — И Колька подал Герману огурец, что был покрупнее.— Соль тут,— и показал на спичечный коробок.

— Вы, наверно, все лето вот так, под открытым небом обедаете?

— Угу,— жуя, промычал Колька.

— Хорошо,— искренне позавидовал Герман.

После обеда Люська убрала остатки еды в сумку, а рыбные кости и яичную скорлупу бросила в костерок. Колька спустился к ручью, зачерпнул кепчонкой воды и аккуратно залил угли. Он хотел еще раз сходить за водой, но Люська заторопила:

— Пошли, пошли! Времени-то ведь много!

Колька задрал рукав рубашки, глянул на часы.

- Ой, правда, второй час!
- Может, вам помочь? — спросил Герман.
- Не, мы сами!.. — ответила Люська.

Ребята убежали.

Герман задумчиво постоял над потухшим кострищем и двинулся берегом ручья к озеру.

Эта встреча с маркеловскими ребятами оставила в его душе странное чувство какой-то светлой и тихой грусти. Не зависть к их хлопотливой жизни под открытым небом, а ощущение чего-то утраченного испытывал он в эти минуты. Ведь в его детстве не было ничего похожего, не было даже вот таких костерков и торопливых обедов с печеными окунями.

Но за всей этой кажущейся легкостью и свободой Герман разглядел никогда не испытанную им самим ответственность перед взрослыми. Именно сейчас Колька и Люська должны куда-то перегнать стадо, чтобы вовремя успеть на покос. Им даже нельзя опоздать. Если они задержатся здесь, то там, на пожнях, взрослые люди уже не справятся с работой, которую необходимо выполнить сегодня. И еще Герман подумал, что все это было в жизни старших братьев Кольки и Люськи и все это было в жизни Кати. Они тоже пекли рыбу на угольках, торопливо обедали у костерка, до блеска расчесывали совхозных телят, куда-то перегоняли их и куда-то спешили к определенному часу, потому что и их детство было так же тесно вплетено в жизнь и труд взрослых членов семьи...

Василий Кирикович встретил сына на крыльце. К удивлению Германа, никаких выговоров за самовольный выезд в озеро не последовало. Отец лишь сказал озабоченно:

— Чего же ты не предупредил нас, что надолго уйдешь? Мы целый день тебя на обед ждали...

А Кирик Савельевич подробно расспросил внука, где именно и на какой глубине он поставил сети, не спутались ли они и какое в том месте дно. Выслушав Германа, он уверенно сказал:

— Добро, внучек! Рыба будет.

— Но ведь половина-то сетки плохо пошла! — воскликнул Герман, удивленный и обрадованный таким оптимистическим прогнозом деда.



— Ну и что? В другую половину попадет. Раз, говоришь, место вязкое и шолли есть, будет рыба. Плотица и щука...

19

В жизни семьи Маркеловых Герман заметил странное изменение: по вечерам Катя перестала показываться на улице. Она не только не ходила с Петром на озеро, но и не появлялась у колодца, не выбегала в огород, не помогала матери ухаживать за скотом. Вернется с покоса и будто исчезнет в этом большом высоком доме.

Герман, конечно, спросил бы у Петра, чем вызвана неожиданная перемена в поведении его сестры, но Петр ходил на вечерние тренировки со своим старшим братом, к которому в душе Германа еще во время первой встречи возникло острое чувство неприязни. Это чувство не проходило, и оно сдерживало желание самому пойти к Маркеловым и узнать, в чем же все-таки дело.

И Герман выжидал. По вечерам с тревожным любопытством наблюдая за домом соседей, он, однако, не мог заметить там ничего особенного. Те же хлопоты со скотом и огородом, так же подолгу сидели на крыльце после возвращения с работы дед Митрий и Иван Маркелов и по-прежнему часто показывались на улице Колька и Люська. Все, как прежде! И только не было видно Кати, будто она уехала куда-то.

Этот вечер тоже ничем не отличался от предыдущих. Сначала во дворе Маркеловых былолюдно: Нюра доила корову, Михаил носил воду из колодца (раньше этим занималась Катя), Колька загонял в хлев овец, Иван и Митрий курили на крылечке. Но постепенно двор опустел, семья собралась в избу на ужин. Минут через двадцать, это Герман знал точно, первым из дома Маркеловых выйдет Петр, он отправится на свою тренировку, а за Петром опять увяжется его старший брат...

Но на сей раз Герман ошибся. Первым после ужина вышел на улицу Михаил. Он спустил с цепи собаку и медленно побрел вдоль деревни. Боясь упустить такой момент, Герман тотчас вышел из избы. Он хотел идти к Маркеловым, но... навстречу уже шагал Петр.

— Привет, Гера! Пошли сети смотреть.— И Петр махнул большой корзиной, которую держал в руке.— Заодно я и поплаваю.

— Пошли! — обрадовался Герман.— Между прочим, я тоже сети поставил. Первый раз в жизни!

— Ну и как? Получилось?

— Не очень... Половину хорошо спустил, а потом лодку так ветром разогнало, что я не успевал грузила бросать.

— Надо было придерживаться.

— Как? — не понял Герман.

— За сеть. Мало ли, зацеп какой или перехлест... Сетку натянешь и распутывай, сколько надб... Посмотрим! Поправить недолго.

Плыли при боковом ветре. Лодка раскачивалась, волны хлупали о крутой борт. Герман с грустью подумал о том, как было бы хорошо, если б с ними в лодке сидела Катя...

— Ты где сети-то поставил? — спросил Петр.

— Там.— Герман показал вправо, где в отдалении чернели два кола.

— Вижу,— кивнул Петр.— На обратном пути заглянем... Раньше-то я любил сетями ловить. Каждый раз загадывал, сколько в сетке рыб, и не было случая, чтобы угадал. Как в спортлото!..— Он засмеялся.— А вообще этим у нас дедушка заведует. Но раз уж он приболел, опять мне приходится... По старой привычке.

— А старший брат что? Он ведь плавал с тобой.

— За компанию плавал... Он не любитель сетями. Конечно, и ему приходилось ставить, но это уж по необходимости. Его слабость — удочка.— Петр оглянулся, поискал что-то глазами в озерной дали, потом слегка повернул лодку и продолжал:— У нас как-то интересно получилось. Ведь вместе выросли, все рыбалку любим, а увлечения у всех разные: я вот дорожечник, мне бы с дорожками поплавать и больше ничего не

надо, Миша — удильщик, ну и еще охотник, а Сашка — тот только спиннинг признает.

Петр рассказывал, как они — трое братьев — спорили иногда, чья снасть уловистее, и даже устраивали что-то похожее на соревнования. Но победителем в тех соревнованиях неизменно оказывался Михаил. В конце концов они вынуждены были согласиться с ним, что удочка надежнее всего. Но, несмотря на это, пристрастие у каждого так и осталось свое.

Герман, слушая Петра, время от времени посматривал вперед на далекую вешку, что темнела почти на середине озера. Поскольку лодка шла к этой вешке, он понял: там сети. Но по мере того как расстояние до вешки сокращалось, Герман все больше и больше удивлялся: как Петр правит лодкой? Гребет он ровно обеими веслами, не оглядывается, еще и рассказывает, а лодка, если даже ее собьет волной с нужного направления, вновь устремляется носом к темной вешке.

— Послушай,— сказал Герман,— я не могу понять, как ты правишь лодкой?

— А что? — Петр с беспокойством оглянулся.— Правильно плывем. Нам к тому колу надо.

— Это я давно понял. Но у тебя же нет на спине глаз!

— А-а!.. — Петр рассмеялся.— Все очень просто. Когда я увидел кол, то сразу повернул к нему лодку, а через твою голову засек на берегу дерево. Три точки на одной прямой. Геометрия! Плюс поправка на волны и ветер. Вот и весь секрет. Понял?

— Понять-то понял... Но я бы так не смог.

— Дело в практике, Гера. Если бы ты посидел за веслами столько, сколько я, все это показалось бы тебе легко и просто.

В этот вечер Петр представился Герману иным, чем в прошлый раз, когда они плавали на лодке вдвоем. Он был проще и понятнее, охотно объяснял, как обращаться с сетями, как вынимать из них рыбу, особенно колючих окуней; поправил сети, поставленные Германом, и был искренне обрадован, когда увидел, что в этих сетях уже есть рыба. И все-таки Герман никак не решался спросить у Петра о Кате, не мог толком сформулировать свой вопрос.

Уже на берегу, уложив свою рыбу в ведро, которое Петр достал из-под кормовой скамейки, Герман, наконец, решился на прямой вопрос.

— Я вот еще что хотел у тебя спросить,— сказал он, стараясь скрыть волнение.— Почему Катя перестала ходить с тобой на озеро? И не только на озеро, а вообще... Она даже не выходит на улицу. Может, что-нибудь случилось?

— Нет, нет,— смутился Петр,— ничего не случилось. На сенокос она ходит, а вечерами... Понимаешь, некогда ей. Домашние дела.

— Странно. Какие могут быть такие дела, что даже нельзя на улице показаться!

Петр с интересом глянул на серьезное и взволнованное лицо Германа, улыбнулся.

— Брось, Гера. Верь мне — все в полнейшем порядке. Просто поднакопилось дел... Мало ли: что-то скроить, пошить... Это ведь бывает!.. Передать ей привет?

Герман лишь утвердительно кивнул.

20

В избе было душно. Пахло кислым — бабка месила квашню — и махорочным дымом — дед лежал на печи, и там, в темном углу, красным угольком тлела сигарка. Отца не было, видно, ушел в сарай отдыхать.

Герман поставил ведро с рыбой к порогу, сполоснул под умывальником руки и прошел к столу.

— Сетки с Петькой глядели? — спросила бабка. — Митрий-то болеет, дак...

— Глядели. — Герман сдернул полотенце, которым был накрыт ужин, взял кусок пирога с картофельной начинкой да банку молока и сел к столу. — Рыба там. — Он кивнул на ведро.

Акулина прошла к порогу.

— Видать, много попало,— сказала она. — Целое ведро дал. — И, помолчав, спросила: — А в своих-то сетках было чего али нет?

— Так ведь это все из наших сеток!

— Неужто?!

С печи, крихтя, слезал дед.

— Я ведь говорил!..— Он спустился на пол, взял из рук жены ведро, поставил его на лавку возле окна и долго с каким-то благоговейным удивлением смотрел на рыбу.— Так и есть, плотицы. А щуки не было?

— Одна. Небольшая. Я ее на дно положил.

— Ну и добро!.. Возьми, matka, чисти.— Савельевич повернул к внуку посветлевшее взволнованное лицо.— Ну спасибо тебе! Утешил ты меня, внучек. Я ведь уж забывать стал, какая она, своя-то рыба... Жалко, поздно ты приехал! — вздохнул дед.— Поздно... Годов бы пять назад — вот когда надо было. Уж тогда бы мы с тобой!.. Да что говорить...— Савельевич махнул рукой и склонил седую голову.

— Ничего, дедушка! Теперь уж своя рыба у нас каждый день будет. Сети мы с Петром поправили — хорошо стоят, он мне все показал, рассказал...

— Добро, внучек, добро!..— кивнул старик.— За Петьку держись. В любом деле пособит и худому не научит.

Вошел Василий Кирикович. Он слышал последние слова отца и сдержанно сказал:

— Ты бы не сбивал его с толку. Хорошему научиться никогда не вредно, но и самостоятельность свою тоже сохранять надо. Чтобы не оказаться на побегушках...

Герман усмехнулся.

— А когда я был на побегушках? У кого?

— Не был — верно. А что не будешь, в этом у меня нет уверенности. И, честно говоря, я далеко не в восторге от твоего поведения.

— Я не понимаю, что ты имеешь в виду. По-моему, у тебя просто плохое настроение.

— Неужели ты не чувствуешь за собой вины за сегодняшние поступки? — удивился Василий Кирикович.— Меня ты игнорировал, а за этим Петькой побежал, стоило ему только позвать. И уже не первый раз.

— Опять за свое!.. Неужели тебе не о чем больше говорить? Между прочим, у Петра действительно есть чему поучиться.

— Вот, вот! А ты бы себя так поставил, чтобы и он у тебя учился.

— Интересно, что я могу передать ему из своего арсенала? Как по-новому танцуют шейк? Или как готовить коктейли?.. Смешно! — Герман встал из-за стола и вышел.

Старики мало что уразумели из разговора сына с внуком, но в который уже раз почувствовали: неладно у них дело! Набравшись духу, Акулина с легкой укоризной молвила:

— Чего же ты, Васенька, с парнем-то, как с неродным?

Ошеломленный словами матери, Василий Кирикович резко обернулся.

— Ты с чего это взяла?

— Да как же? Вместе не ходите, разговору путного у вас нету...

Лицо Василия Кириковича покраснело.

— Ты еще Маркеловым это скажи!

— Почто Маркелам? Я тебе рассказываю... Парню головушку некуда приклонить, все один. Вот и тянет его к Петьке.

— А ведь матка правду тебе говорит,— подал голос Савельевич.— Недружно у вас как-то, нехорошо...

Василий Кирикович заходил по избе взад-вперед. Он понял, что совершил ошибку, начав этот разговор с сыном именно сейчас. Но он же рассчитывал, что в присутствии деда и бабки Герман больше проявит сдержанности, и уж никак не ожидал такой реакции от отца и матери.

Слов нет, Василий Кирикович сам чувствовал, что с приездом в Лахту сын отдаляется от него все больше и больше, и, что самое неприятное, не видел способа приостановить это отдаление.

Свою вину он чувствовал. Во-первых, кимьярская действительность оказалась совершенно не такой, какой представлялась там, в городе, во-вторых, обещание показать сыну живописные лесные озера в самом деле повисло в воздухе. Но разве он виноват в том, что в Ким-ярь за прошедшие годы произошли необратимые изменения? И мог ли он знать, что старик отец давно забросил рыбалку? А ведь, мечтая побывать на

лесных озерах, он, Василий Кирикович, прежде всего рассчитывал на своего отца.

После долгих раздумий он все-таки нашел выход. Пусть его самого уже не влечет никуда и рыбацкий азарт, проснувшийся было в нем на озере, погас, как только крючок впился в руку. Но ради сына он готов на риск. Он сводит Германа на красивейшее озеро Вешким-ярь! Чего бы это ни стоило, он это озеро найдет.

Василий Кирикович опустил на лавку возле своего отца, сказал:

— Вот что я надумал. Завтра же мы пойдем с Германом на Вешким-ярь. Все-таки надо ему показать это озеро! Ты только Расскажи, как туда попасть, чтобы не заблудиться.

Савельевич заерзал на лавке.

— Рассказать-то можно, да ежели ты троп не помнишь... Туда через Макарихино болото идти. Знаешь Макарихино-то болото? За клюквой еще ходили... Оно за Лому-нить. А на Лому-нить через Лепник была тропа, мимо Ситри-ярув...

Василий Кирикович подавил вздох. Все названия ему были знакомы, но воспроизвести в памяти, как выглядят пожни Лому-нить, Макарихино болото или Лепник, он был бессилен, и уж тем более не мог расположить их мысленно какой-то цепочкой на местности, чтобы по ним, как по вехам, представить путь от дому до светловодного Вешким-яря.

— Не знаю. Не помню!..

— Не ломайте-ка голову! — сказала появившаяся из кухни Акулина. — До Макарихина-то болота завтра я сама вас доведу. А там до Вешким-яря и всего-то две версты останется... А я заодно, может, ягодок каких пособираю...

Однако к предложению отца Герман отнесся равнодушно.

— Нет, папа. Никуда я не пойду, — сказал он.

— Но ты не знаешь, какое это озеро?! Не озеро — сказка! Разве тебе не хотелось побывать на лесных озерах, поночевать у костра?..

— Да, хотелось. А теперь не хочется.

Герман сказал неправду. Желание посмотреть лесные озера и поудить, когда, по словам отца, окуни хва-

тают — только успевай вытаскивать! — в нем жило до сих пор. Он с радостью пошел бы на то же Вешким-яр с дедом, с Петром, с Колькой Маркеловым. Но с отцом? Нет. Идти и знать, что это делается только ради тебя? Неинтересно! А в том, что у самого отца нет искреннего стремления уйти на рыбалку с ночевкой, он не сомневался.

21

Ночь была безмолвна, без обычных таинственных звуков, без птичьих голосов, лишь ветер шумел берегами, да где-то в углу сарая старательно и монотонно грызла дерево мышь. А может, и все ночи были такими, но Герман не знал этого, потому что всегда засыпал раньше.

Время перевалило за полночь, но в доме Маркеловых еще светились два окна. Герман лежал на боку в своей постели и сквозь щель между бревен неотрывно смотрел на эти окна.

Было странно, что Маркеловы, которые уйдут на сенокос около шести утра, до сих пор не спят. Хотя не спит, наверное, один Петр — опять что-то читает или пишет. А Катя?.. Может, и она не спит? Что она делает? Какая работа приковала ее к дому? Почему этот вопрос так смутил Петра?

Герман вспомнил, что, когда они возвращались на берег, лицо Кати было грустным, даже печальным. Почему? Ведь пока плавал Петр, Катя держалась совершенно свободно и им, двоим, было не скучно: они о многом поговорили и, кажется, хорошо понимали друг друга. А потом эта грусть... Может быть, Катя уже знала, что со следующего дня ей не бывать на озере и даже не будет возможности по вечерам выходить на улицу?

А что было на следующий день? И тут Герман вспомнил — разговор с Михаилом, это его нелепое, оскорбительное сравнение девушки с уткой... Неужели она вынуждена отсиживать по вечерам дома из-за своего старшего брата? Может, он дал ей какую-то ра-

боту? «Мало ли: что-то скроить, пошить...» Кажется, Петр так выразился. Но какое право имеет Михаил лишать свою сестру отдыха? И куда смотрят ее отец и мать? Да и Петр мог бы за нее заступиться...

Герман почувствовал непреодолимое желание встретиться с Катей, встретиться завтра же, поговорить с нею, доказать, что Михаил, пусть он и старший брат, не имеет права заставлять ее работать до полуночи. Но опять же — где встретиться? Когда? Если вечером уйти за деревню, дожидаться, когда Маркеловы пойдут с сенокоса, и отозвать Катю в сторонку или попросить задержаться на минутку? Никто же не схватит ее за руку! Но опять надо целый день ждать. Сделать это утром? Но Маркеловы будут спешить на работу... Нет, лучше вечером. Пусть долго ждать, но зато надежнее. А утром надо посмотреть, куда, в какую сторону они пойдут... Только не проспать бы!..

Герман проснулся в восьмом часу и понял — проспал. Сначала он огорчился, но потом подумал, что, быть может, бабушка или дед видели, куда ушли Маркеловы?

Старики, как обычно, уже не спали. Жарко топила печь. Акулина стряпала, а Кирик Савельевич возился с удочками.

— Ты, дедушка, не на рыбалку ли собираешься? — изумился Герман.

— Что ты, внучек!.. Я для вас... Хочу лески снять да вот на спичечный коробок намотать, чтобы удочки-то в лес не тащить. Удочки вы там срубите.

— Но мы же никуда не пойдем!

— Дак на Вешким-ярь-то! Али батько не говорил тебе?

— Говорил, да я отказался. Еще заблудимся...

— А и ладно сделал, внучек! — неожиданно одобрила бабка. — Батько-то, как я погляжу, совсем отвык от здешних мест. Да и ходок-то он ненадежный...

Савельевич решительно отложил удочки, сел на лавку рядом с внуком.

— Все правильно, — подытожил он. — На Вешким-ярь ты с Петькой сходишь, а еще бы лучше — с Мишкой. Вот уж с ним, с Мишкой-то, поудил бы!.. И мы бы в покое были...

«Нет уж, с кем угодно, но только не с Михаилом!» — подумал Герман.

— А на батьку не обижайся,— продолжал дед,— правду бабка говорит: отвык он от всего этого, и от уженья тоже отвык... Всю жизнь в городе прожил... Тут кто хошь отвыкнет.

— Я ведь и не обижаюсь. Понимаю...

— Ну и добро!.. Матка к Маркелам ходила, дак Нюрка сказала, что на илью они сенокос кончат. Тогда уж с ихними ребятами везде походишь.

— А что такое «Илья»? — не понял Герман.

— Да праздник-то, ильин-то день,— пояснил Савельевич.— Через три дня и будет. Старинный праздник, большой. Все здешние старики к Маркелам соберутся.

— Это интересно! — оживился Герман.

— Теперь-то какой интерес, а вот в нашу-то пору чего делалось!..

— Так ты расскажи!

Дед засмутился, полез в карман за кисетом.

— Худо, вишь ли, я говорить-то умею, нескладно...

По лицу деда, ожившему и посветлевшему, Герман вдруг понял, что старику очень хочется рассказать о чем-то далеком и еще не забытом, которое до сих пор живет в его сердце, и он настойчиво повторил:

— А ты расскажи, как умеешь!

— Ну, ежели так, ежели хочешь послушать...

Пока грелся самовар, дед вспоминал, какие бывали ярмарки в Лахте в пору его молодости, как парни катали девушек на лодках и часто, шутя, опрокидывали лодки на глуби; какие иногда случались между парнями драки — партия на партию, в изгородях не оставалось ни одного целого кола.

По мере того как он рассказывал, в памяти, видимо, всплывали все новые и новые подробности, и старик сбивался, перескакивал с одного на другое, возвращался к уже рассказанному, но все равно слушать его Герману было любопытно.

— А вот еще один случай был. В ильин день,— с особенным оживлением сказал старик.— Я еще холостовал. Ну, с бабкой-то твоей давно погуливал! Она ведь счас старая, а раньше была эдакая невеста!..

— Ой, будет не дело-то говорить! — крикнула от печки бабка, но лицо ее при этом было радостным.

— А чего? — обиделся дед. — Я правду говорю. Самопервая невеста в Лахте была, не хуже маркеловской Катьки.

Герман улыбнулся: представить бабку такой, как Катя, у него не хватило воображения.

— И сватов к ней уж много ходило, — продолжал дед, — и батько, поди, отдал бы ее — хорошие женихи сватались! Да как отдашь, ежели она, Акулинушка-то, согласья не давала? А согласья потому не давала, что мы с ей за овинами, вон там, у Саргинской-то дороги, — старик махнул сухой рукой на окно, возле которого сидел Герман, — не одно уж летушко потихоньку целовались!.. — И дед заулыбался, прищулив глаза и поглаживая бороду.

— Ой, дедко!.. — опять воскликнула бабка.

— Ты только не сбивай меня! — обернулся Савельевич к жене. И к Герману: — Значит, на праздник в тот год, как и всегда бывало, приплыли сарьярские парни. Это пятнадцать верст отсюда водой. Как счас помню, на десяти лодках приплыли. Ну, девки тоже, конечно, ихние были, и мужики, и бабы-молодки, дак те не в счет. Народ гуляет, все вино пьют, пляшут... И кто-то слух пустил, будто сарьярские парни мою Акулинушку ладят с собой увезти, силой аль по сговору, а увезти.

— О господи! — вздохнула бабка. — Сколь раз тебе говорила — не было сговору!

— Ну, не было. Знаю, что не было. А тогда-то не знал и поначалу совсем расстроился.

— Еще бы! — воскликнул Герман.

— Вот, вот! Расстроился и растерялся. А сарьярских парней много, десятка три. Ну, наших-то, лахтинских, конечно, больше, что и говорить. Да ведь парни-то по партиям, и у каждой партии в эдакий праздник свои заботушки. А в нашей-то партии, с нашего-то конца деревни, — всего человек десять, не боле. Думали мы, гадали, да и надумали. Подговорили робятешек, как Колька маркеловский, таких, чтобы они потихоньку все сарьярские лодки дегтем напята-нали. Лодок-то на берегу, поди, сотня, дак чтобы потом

не перепутать. Они, робянешки-то, и затыпали заячьей лапой, деготьком, носы лодок.

Дед раскурил потухшую сигарку, затаился глубоко, выпустил из ноздрей две густых струи дыма и продолжал:

— Когда совсем тёмно стало — а в илью ночи черные! — мы, наша-то партия, спустились на берег и давай сарьярские лодки искать. По запаху. Ходим между лодок и нюхаем...

— Ловко!.. — восхитился Герман.

— А как же! Быстренько лодки нашли, связали друг с дружкой, одну еще свою прихватили и подались за озеро. Перегнали на Мюрк-немь — есть на той стороне эдакий крутой мыс, — затаили на бережок и оставили, а на своей лодке обратно приплыли. Вернулись в деревню, будто ничего и не было. Я побежал свою Акулинушку искать, а остальные из нашей партии слушок пустили, будто парни из Шат-ярь сарьярские лодки в озере утопили.

— Ну вы и давали! — покачал головой Герман.

— Правда, внучек, правда! Чего уж было — то было... Сарьярские сразу на берег. Видят, вправду нету лодок. А с шатьярскими парнями они не в дружбе жили, ну тут уж, известное дело — за колья... Так мы, дураки, всем людям праздник испортили...

— Ну, а бабушка-то? Она-то где была?

— Дома сидела, — заулыбался дед. — Девки своим табуном хороводились. Прослышали, какой умысел у сарьярских парней, и упредили Акулинушку. Она скоренько домой с праздника-то да и заперлася. Не украдешь! Там я ее и нашел. По деревне шум, гам, а мы с Акулинушкой в темных сенях целуемся!.. Вот так гуляли.

Герман представил свою бабушку молодой и красивой — была она длиннокосая, стройная, ясноглазая и очень похожая на Катю Маркелову.

— А с лодками что? — спросил он.

— С лодками-то?.. А чего с лодками. До утра никто ничего не узнал. Тогда мы своей партией к сарьярским парням пошли. Ставьте, говорим, ведро вина, тогда скажем, где лодки. Те — куда деваться? — поставили. Выпили мы с ними это вино да сами же ихние

лодки обратно и пригнали. Так все миром кончилось. И той же осенью я Акулинушку сосватал... Шеисять годов с той поры прошло. Осенью шеисять будет...

Дед умолк и начал скручивать новую сигарку, а бабка вздохнула грустно и стала подавать завтрак...

Казалось бы, какое отношение мог иметь к Герману рассказ старика о своей молодости? Все когда-то гуляли, все любили, и мало ли что здесь было больше полувека назад! Но эти воспоминания разволновали Германа и что-то подсказали ему.

Теперь Герман знал, как встретиться с Катей. Он напишет ей записку и передаст через Кольку. Вот и все.

22

С запада упруго и ровно дул свежий ветер. Белели волны, расстилалась, шелковисто поблескивая, осока, ныряли над волнами легкие длиннокрылые чайки.

Герман уже миновал песчаный мыс, когда из прибрежных кустов навстречу ему неожиданно выбежал Колька. Мальчишка тяжело дышал, лицо его горело.

— Ты что такой? — удивился Герман. — За тобой кто-нибудь гонится?

— Буржуй потерялся, дак... — Колька шмыгнул носом.

Герман тотчас вспомнил пестрого бычка, на которого как-то кричал дед Митрий.

— Как же он мог потеряться?

— Не знаю. Мы с Люськой пришли телят из загороды выпускать, а они уж у ручья. Сами как-то вышли. И Буржуя нету. Поискали, поискали, вот я и пошел сюда... Он всегда в эту сторону бегал. Ты не видел его?

— Нет. — Герман подумал, что мальчишке, должно быть, здорово влетит, если теленок не найдется, и сказал: — Что ж, раз такое дело, пойдем искать вместе.

Колька глянул на чистый костюм Германа, нахмурился.

— В кустах паутины много, запачкаешься.

— Подумаешь, паутина... Пошли!..

Вдвоем они направились по зарослям ивняка вдоль берега.

— Он хитрый, Буржуй-то! — говорил Колька. — Звать станешь, дак он наоборот, дальше уходит, а то совсем спрячется, будто его и нету. За лето уже не раз терялся. Оводно было, дак он залез в Рандужке в избу и сидит там. А мы его целый день искали...

Но чем дольше они лазили по кустам, разыскивая теленка, тем молчаливей и замкнутей становился пастушок.

— Да ты не расстраивайся, — успокаивал его Герман. — Не провалился же он сквозь землю!

Они заглядывали за каждый куст, забирались в такую чащу, в которой, кажется, не только теленок, но и собака не смогла бы продраться. Но именно в таком месте они и обнаружили Буржуя.

Пестрый — по белому полю желтые пятна — бычок лежал на крохотной лужайке в окружении сплошных зарослей ивняка. Он и ухом не повел, когда Колька и Герман, ломая кустарник, пробирались к нему.

— Я ведь говорил, что он хитрющий! Вишь, даже голову не поворотит. Ну-ко, вставай, хватит прятаться!

Бычок нехотя поднялся и с ходу, напролом, сунулся в кусты.

— А ты чего не приходишь к нам? — спросил Колька.

— Куда — к вам?

— Домой. Или туда, на берег ручья.

— Я как раз к вам и отправился.

— А чего не по дороге? Ведь там ближе!

— Я не знаю дороги. Я всегда берегом хожу.

Записка лежала в нагрудном кармане пиджака, но Герман медлил, приглядываясь к Кольке: можно ли ему довериться, не подведет ли?

— Теперь Буржуй нашелся, дак можно и поудить. Мне Мишка знаешь какой крючок дал?

— Какой? — При имени Михаила Герман настоялся.

— Золотой! Австралийский. Острый-преострый! Он говорит, рыба только понюхает червяка — и уже на крючке. Во как!

- Где же он взял такой крючок?
- Купил. В Ленинграде. Он их много купил!
- Купил много, а дал один. Жмот твой Мишка!
- Ну да! Мне ведь больше одного и не надо пока.

Он и удочку мне привез. Какую-то теле... скопную. Даже и не знаю. Она раздвижная. Длинная-предлинная! И прямая.

Буржуй неожиданно свернул с тропки, и Колька сломая голову бросился ему наперерез.

- Только удери! Только попробуй!.. — кричал он.

А Герман раздумывал, как быть с запиской. Было похоже, что Колька и Михаил живут в дружбе, а ему меньше всего хотелось, чтобы о записке узнал старший брат Кати.

Колька выгнал бычка на тропу и обождал, пока подойдет Герман.

— Да, значит, Мишка привез тебе подарок... Это хорошо. А еще кому привез или нет?

— А как же! Всем привез. Дедушке табакерку. Из какой-то не нашей березы сделана. Красивая! Папке и Петьке привез шапки — мягкие! Мамке — материи на платье, Катьке — туфли, белые, дорогие какие-то! Сашке — радио, маленький приемничек, Люське — вязаную кофту, а мне, я уже говорил, — эту удочку.

Вышли к деревеньке, в поле. Буржуй ленивой рысцей затрусил к виднеющемуся вдалеке стаду. Герман спросил:

— А с Катей ты дружно живешь? Я имею в виду, вы с ней не ссоритесь, разговариваете обо всем...

— А чего с ней говорить-то?

— Как? Разве с сестрой не о чем говорить?

— Дак ведь она большая!.. Она все с папкой да с мамкой говорит, про работу да про всякое такое... — Колька сморщил нос и махнул рукой.

— Так и должно быть. Ей же много приходится работать.

— Зато она сама чего хочет, то и делает.

— Ну уж это ты загибаешь!

— А чего, правда! — Колька поднял на Германа наивные круглые глаза. — Мы с Люськой сколь просились у папки ночью телят пасти, дак он нам не дал, а Катька только сказала, и все. Целую неделю пасла!

Она и в Саргу ездит, когда захочет, и на косилке папка дает ей работать.

— Интересно... Разве ночью пасти — это хорошо?

— Еще бы! — Колька мечтательно вздохнул.

— Значит, ей неплохо живется?

— Она большая!.. — сказал Колька с оттенком зависти.

— Хоть и большая, но, я думаю, тебя не обижает?

— Дак ведь она — сестра!

— Разве сестра не может обижать?

— Как это?.. — Колька смущенно заулыбался. — Если я ей брат!..

Чем дальше шел разговор, тем труднее Герман и Колька понимали друг друга. Сбитый с толку наивностью парнишки и его странными рассуждениями, он спросил:

— Ты можешь хранить тайну?

Колька неопределенно пожал плечами.

— Ну хорошо. Я тебе доверяю. — Герман вытащил из кармана вчетверо сложенную бумажку и подал Кольке. — Можешь даже прочитать: от тебя секретов у меня нет.

— Была нужда! Отдам, и все.

— Кому отдашь? — вздрогнул Герман.

— Катке. Кому же еще! — и спрятал записку в карман выгоревших хлопчатобумажных штанов.

— Верно... В общем, ничего плохого в этой записке нет, но я бы все-таки хотел, чтобы о ней, кроме тебя и Кати, никто не знал.

— А кто спрашивать-то будет!

— Ладно. Договорились. Вечером я буду на крыльце. В случае чего — прибежишь.

— А чего бегать? Сам-то приходи к нам!

Герман вздохнул:

— Боюсь помешать. Вы же все — занятые люди! У вас и свет каждый вечер до полуночи горит. Значит, делом занимаетесь.

— Это Петька да Катка сидят.

— Что же они делают?

— Петька летопись читает. Толстущая такая книга! И про Ким-ярь там есть, только как-то не по-нашему написано. Другое дак и разобрать невозможно.

— Ну, Петька читает, а Катя?

— Катька-то?.. Дак она шьет.

— Что шьет?

— А все. Исподнее твоему дедушке сошила да две рубахи. Теперь бабушке сарафан шьет. А штаны мамка шить будет. Катька еще не умеет штанов.

— Обожди! — Герман остановился, ошарашенный такой новостью. — Ее кто просил шить?

— Дак бабушка и просила, — захлопал глазами Колька. — Люська за материей в Саргу ездила — много всякой материи привезла! А теперь Катька шьет. Только бабушка не велела ничего сказывать твоему папке, а то, говорит, осердится... Ты тоже не говори, ладно? — На Германа смотрели ясные, правдивые глаза мальчишки.

— Не скажу, — пообещал Герман.

— Дак чего стоишь-то? Туда-то пойдем? — Колька кивнул в сторону ручья.

— Нет, я, пожалуй, вернусь.

— Пойдем!.. Поудили бы вместе, потом окуней печь будем...

— Спасибо. Я лучше в другой раз. А записку все-таки передай. Хорошо?

Колька молча кивнул и побежал к телятам.

В голове Германа была невообразимая путаница. Каждый вечер он с нетерпением ждал, когда на улицу выйдет Катя, предполагал черт знает что, даже готов был возненавидеть Михаила, а оказывается... Жгучее чувство стыда охватило его. Стыдно было за все: за нелепые домыслы и подозрения, за собственную беззаботность и слепоту, за подарки, привезенные деду и бабке. Он вспомнил, как отец, собираясь в деревню, решил взять для деда шляпу, шарф и перчатки, а для бабки — мохеровый платок. И он, Герман, согласился. Даже не то что согласился, а вообще не придал этому значения. А на что старику шляпа? На что перчатки?! Глупо...

Герман брел по берегу и с запоздалым раскаянием думал, что нужно было привезти деду хороших рубах. И костюм надо было ему купить, а бабке — платье разных, красивых, пусть бы носила. И досадней всего, что уже ничего невозможно исправить.

Выбирать удобный момент, чтобы передать записку с глазу на глаз, Колька не стал: вечером, когда вся семья в сборе, такой момент мог бы и не представиться. Он просто ушел в другую половину избы и позвал оттуда:

— Катька, иди-ко сюда!

— Чего тебе? — Катя приоткрыла дверь, но увидела, что брат трогает швейную машину, и быстро подошла к нему. — Ты что тут делаешь? Не крути ничего!

Колька молча подал записку. Катя открыла было рот что-то спросить, но встретила глазами с братом, о чем-то догадалась, взяла бумажку и тут же развернула ее.

Катя! Мне необходимо увидеться с тобой, поэтому не сочти за бестактность, что я посылаю записку. Я не смею просить тебя о встрече, но, если можешь, то хотя бы сегодня выйди с П., когда он пойдет на тренировку.

Г е р а.

Кольку так и подмывало заглянуть в записку, но он тупо смотрел на загорелую руку сестры с белым, от часов, ободком на запястье. Потом поднял глаза, увидел смущенное, покрасневшее лицо Кати и тихо спросил:

— Чего ему сказать-то?

— Ничего. — Катя сунула записку под машину. — Ну что смотришь?

— Дак ведь... — пролепетал Колька, — он меня ждать будет... На крыльце.

— Ты прочитал, что там написано? — заглядывая братишке в глаза, спросила Катя.

— Еще чего!..

— Ну и молодец. Скажи, что я с Петькой на озеро пойду. И все. А машину не трогай. — И Катя вышла.

Каждый вечер Колька рвал к столу для ужина зеленый лук. Но на этот раз, хрежде чем отправиться в огород, он побежал к Тимошкиным. Герман был на крыльце.

— Вам луковой травы не надо? — спросил Колька.

— Нет, — удивился Герман. — А что?

— Так. Я за травой пошел. — И, чуть понизив голос, сказал: — Катька велела сказать, что пойдет с Петькой на озеро.

— Ну спасибо!.. — Герман благодарно хлопнул мальчика ладонью по плечу, и тот исчез.

Герман не знал, входило ли в намерения Кати идти на озеро в этот вечер, но одно то, что она откликнулась на записку и послала Кольку, было приятно...

Они появились на улице в обычное время — в половине восьмого. На Кате был трикотажный спортивный костюм, такой же, как у брата, но с белыми полосками по вороту, опушке и манжетам; коса была уложена на голове и пришпилена.

— Привет! — Петр улыбнулся и многозначительно поднял пустую корзину. — Пошли!..

— Обожди, ведро возьму! — вспомнил Герман.

— И переоденься. Обуй сапоги и возьми плащ. Сегодня волна, промокнешь.

Герман влетел в избу, сдернул с гвоздя брюки и рубаху, предназначенные для рыбалки, стал переодеваться.

— Опять на озеро? — спросил отец. — Разве не видишь, какой ветер?

— Ну и что? — Герман торопливо застегивал пуговицы.

— Боюсь, что все это плохо кончится.

— А я убежден в обратном! — Герман сунул ноги в сапоги, схватил плащ и ведро и убежал.

Ветер и в самом деле был штормовой. На крышах домов гремели доски, где-то хлопала, жалобно скрипя петлями, дверь; с озера доносился монотонный гул прибой.

Когда подошли к лодке, Петр глянул вдаль, где кастились пенные валы, и вдруг сказал:

— Топай-ка домой, Катеринка. Нечего тебе мокнуть.

— Боишься, что растаю? — пошутила Катя, но было видно: она растеряна.

— Не растаешь. Просто ни к чему в такую волну троим плыть.

— Ну, если так — я пошла! — Катя повернулась и быстро зашагала к дому.

Герман беспомощно посмотрел ей вслед.

Едва лодка оказалась на плаву, волны с жестокой силой обрушились на нее. Петр уверенно развернул дощаник.

— Плащ надень! — перекрывая шум прибоя, крикнул он Герману и начал греблю.

Волны бились о правый борт, каскады брызг сыпались на Петра, но он словно не замечал этого. Наклон вперед — весла врезаются под волну, наклон назад — мощный гребок, весла взмывают кверху, пролетают над волной за спину и вновь стремительно погружаются в воду.

По плечам и груди Петра, по извилистым желобкам меж мускульных бугров на его животе струилась вода. Но и Германа не спасал плащ. Волны, дробясь о борт, швыряли на него пригоршни воды. Она попадала за ворот и стекала по спине. И на скамейке тоже была вода. Скоро Герман почувствовал, что брюки промокли насквозь и вода уже течет с них в сапоги.

«Пожалуй, хорошо, что Катя вернулась», — подумал Герман.

— Вычерпай воду! — подсказал Петр.

Герман взял ведро и, зачерпнув почти полное, очень удивился: воды-то нахлюпало порядочно!..

Петр решил сначала осмотреть сети, поставленные Германом, потом свои и уж после сделать тренировочный заплыв. Он подогнал лодку к березовому колу, энергично развернул ее кормой на ветер. Герман, изловчившись, схватил крайний поплавок и стал поднимать сеть. Над водой показалась одна плотица, вторая, третья... Корма то поднималась на волне, то опускалась, и Герман долго путался, вынимая рыбу.

— Перехватывайся, дальше поднимай! — подсказывал Петр.

Герман заторопился, сеть зацепилась за пуговицу плаща. Он стал ее отцеплять, и тетива выскользнула из рук, пуговица оборвалась. Петр понял, что с непривычки Герману не справиться на волнах с сетью, и жестом попросил его занять место за веслами, а сам быстро перебрался в нос лодки, перегнулся через борт

и схватил тетиву. Лодка закултыхалась, зарываясь носом в гребни; ветхая снасть затрещала.

— Поддай вперед! Еще, еще!..

Герман сделал несколько удачных гребков. Натяжение ослабло, но лодку стало наносить на сети.

— Левым! Левым!! — крикнул Петр через плечо. — Хорош!..

Он уселся на носовую скамеечку спиной к Герману и начал перебирать снасть.

— А рыбу куда? Ведерко-то понадобится!

— Бросай в корзину! — отозвался Герман. — Потом разберемся.

Руки Петра успевали все — удерживать сеть, вынимать рыбу, перехватываться, смягчать натяжение снасти под ударами волн и даже править лодкой, не давая ей накрывать днищем сеть. Лишь изредка, когда ударом особенно крутой волны лодку бросало на снасти, Петр коротко командовал:

— Поддай! Левым, покрепче!..

Но рыбы попало много, и, как ни быстры были руки Петра, осмотр сетей затянулся.

«Запоздаем!.. — с сожалением подумал он. — Плавать, пожалуй, не придется». Он опять сел за весла и направил лодку к своим сетям.

К заходу солнца снасти были проверены. В голове Петра родилась заманчивая идея: если все двадцать минут плыть в одном направлении, к дому, то вполне можно успеть возвратиться с озера еще засветло. Дождавшись, когда Герман вычерпал воду, Петр сказал:

— Я все-таки хочу сплавать. Ты держись за мной. Гребь полегоньку, осторожно — за волной следи. Ну и, конечно, меня не протарань! — Он открыл в улыбке белые зубы. — Через двадцать минут крикнешь. Это уже будет недалеко от берега. Понял?

Герман кивнул.

Прямо через борт Петр метнулся в уходящую пенную волну.

Лодка, на какую-то минуту потерявшая управление, развернулась бортом к ветру. Герман попытался выправить ее — не получилось: правое весло врезалось слишком глубоко, «увязло» и слетело с уключины. Пока он ставил его на место, новая волна неожиданно

обрушилась прямо на колени. Герман растерялся, схватил ведро. Но лодка раскачивалась, вода переливалась по дну, и зачерпнуть ее не удавалось.

«Нет, надо грести,— подумал он,— и поворачивать на ходу». Но и гребля не давалась. Лодка то взмывала на гребень, то опускалась меж волн, и Герман не мог приноровиться, чтобы одинаково заглублять весла; то одним, то другим веслом гребок получался вполсилы, а то и вовсе впустую. Пробившись минут десять, Герман оглянулся на берег. Он сразу заметил, что Лахта сильно сместилась влево: волнами и ветром лодку быстро несло почти вдоль озера. Это встревожило. Но еще тревожней стало оттого, что Петр куда-то исчез. Герман вытягивал шею, вглядывался в волны — нигде ничего, кроме белых гребней и темных провалов меж ними. Забыв об осторожности, он встал, на какой-то миг засек мелькнувшие вдали руки Петра, но тут лодка покачнулась, и он упал, больно ударившись коленями о шпангоут.

«А ведь он надеется, что лодка сзади!» — пронеслось в голове. Потирая колени, Герман поднялся, сел на скамейку и стал поворачивать лодку. Она не слушалась. Тогда он обеими руками взялся за правое весло и греб до тех пор, пока не повернул дощаник почти против ветра. Но едва сделал несколько гребков двумя веслами, лодка опять упрямо подставила волне левый борт. Снова пришлось грести правым.

И тут Герман понял: Петра не догнать. Но может быть, он сам заметит лодку и повернет навстречу? Тогда во что бы то ни стало надо держаться, не давать волнам и ветру нести лодку вдоль озера и, сколько можно, двигаться к берегу. И Герман снова греб то одним, то обеими веслами, не замечая, как волны швыряют в дощаник острые гребни...

Около месяца Петр плавал по двадцать минут каждый вечер и с точностью до нескольких секунд чувствовал, когда истекало время заплыва. Не услышав условленного сигнала, но уверенный в том, что Герман плывет сзади, он проплыл еще сотню метров. И когда уже руки, ноги, спина — все тело стало сигнализировать, что время вышло, Петр перевернулся на спину и оглянулся назад. Пусто, лишь волны белеют. По-

смотрел влево, по ветру, но и там волны, одни только волны. Дождавшись высокого вала, он взвился вверх. Лодка чернела не менее чем в километре. Это было так неожиданно, что Петр сразу почувствовал, как усталость свинцовой тяжестью потянула вниз. Он расслабился, запрокинул лицо, раскинул руки, чтоб отдохнуть хотя бы одну минуту.

Ему было ясно: с Германом что-то случилось. Растянул связки или упал в лодке и ушибся? Или надломилось весло? В такую волну всякое может быть, достаточно одного нерассчитанного движения...

После минутного отдыха Петр снова поднялся на гребне, засек направление, сделал поправку на волны и ветер и поплыл. Расстояние не смущало — он не раз переплывал Ким-ярь, беспокоило другое: если случилось что-то серьезное и Герман не сможет грести, лодку понесет через озеро, а дрейфовать в штормовую погоду да еще в сумерках слишком опасно.

Он плыл не спеша, экономно расходуя силы и время от времени посматривая вперед, все ждал, вот-вот там зачернеет лодка. По времени она уже должна была показаться. Петр опять остановился, заглубил ноги и, когда накатила волна, рванулся вверх. Лодка не стала ближе и по-прежнему была развернута бортом к волне. Петр похолодел: понесло! Теперь не догонишь. Надежда была лишь на то, что дощаник зацепится за песчаную косу Янь-немь, далеко вдающуюся в озеро. Если же он проскочит мимо, тогда... Петр боялся и думать, что тогда может произойти. Но все равно надо плыть за лодкой, туда, по волнам, надо спешить!.. Где-то в глубине сознания возникла мысль, что и у самого может не хватить сил — слишком много их уже отдано, да и вдоль озера плыть — не поперек. Но Петр старался не думать об этом. Главное — плыть, плыть, плыть...

Беспорядочная гребля изматывала, от мозолей горели ладони, но Герман знал, что будет грести до тех пор, пока в руках хватит сил поднимать весла. И вдруг он увидел, что в лодке плавают мертвая рыба. Корзина, что ли, опрокинулась?..

Почему-то именно вид этой рыбы довел чувство реальной опасности до того физически ощутимого пре-

дела, когда и мысли и инстинкт как бы сливаются воедино, подсказывая единственно верный путь к спасению... Корзина не перевернулась, ее залило! Герман перестал грести, убрал весла в лодку, чтобы не сшибло их волной, и стал вычерпывать воду. Делал это сосредоточенно, без суеты, зачерпывал непременно полное ведро и выливал только через подветренный борт.

Вода убывала медленно: наполовину залитая лодка сидела глубоко, и почти каждая волна швыряла в нее свою долю. И все же вода убывала! Когда ее осталось так мало, что обнажились шпангоуты, Герман вновь взялся за весла. Он несколько энергичней, чем бы следовало, попытался развернуть дощаник в наветренную сторону, и правое весло опять соскочило с уключины. И как раз в этот момент «девятый вал» жестко ударил о борт. Лодка, казалось, повисла над водой. Герман выпустил весло и инстинктивно схватился за борта. Дощаник ухнул меж волн, потом, раскачиваясь с борта на борт, стал медленно подниматься на новом гребне, а весло — весло уже плавало за кормой...

Самообладание изменило Герману. Впившись пальцами в скамейку, он бессмысленно смотрел, как увеличивается расстояние между плавающим веслом и лодкой — дощаник парусил высокими бортами, — и надежда выбраться из бушующего озера покинула его...

Рыба опять плавала в лодке. Перекачивалось по дну, ударяясь о ноги, залитое ведро, точно напоминало: пора вычерпывать воду, пора! Герман плюхнулся на колени, нашарил ведро, но тут дощаник резко покачнулся, накренился, и вода хлынула через борт. Оцепеневший от страха Герман смотрел, как пенистые волны заливают лодку, и не имел сил даже крикнуть...

Все медленнее и медленнее плыл Петр среди шипящих волн. Берег уже скрылся в вечернем полумраке, и волны были единственным ориентиром. Если даже ветер изменит направление, они еще долго будут катиться в ту сторону, куда унесли Германа. Плыть по волнам, только по волнам, и смотреть до рези в глазах — перед собой, вправо, влево, — не покажется ли лодка. Что бы ни случилось, но где лодка, там и Герман.

За последние полчаса Петр оглянулся назад всего один раз, будто хотел убедиться, там ли, на месте ли, Лахта. Она издали светила ему двумя желтыми огоньками. Эти огоньки придавали сил, но и вносили в сердце еще большее смятение: Петр хорошо представлял, как тревожно в эти минуты у тех огней.

Он казнил себя за то, что велел Герману плыть сзади. А надо было плыть сбоку, только сбоку, рядом! Как он не сообразил этого сразу?! И нельзя было настолько увлекаться, плыть, не поднимая головы, не контролируя лодку. Ведь если бы он вовремя заметил, что с Германом что-то случилось, можно было быстро прийти на помощь. А теперь? Теперь приходилось рассчитывать на счастливый случай.

Инстинкт подсказывал, что без передышки переплыть озеро вдоль не хватит сил, и Петр, сам того не замечая, постепенно забирал все ближе и ближе к берегу. Он вздрогнул от неожиданности, когда слева, почти рядом, вдруг вспыхнул в темноте яркий свет. Герман?.. Петр рванулся навстречу огню, и через минуту рука под водой скребнула по песку. Он медленно поднялся, вглядываясь в темноту, но свет фонаря резал глаза.

— Петька?! — раздался испуганный возглас Кати. И сразу опустились руки.

Шатаясь от усталости, Петр побрел к берегу. Сестра бросилась ему навстречу.

— Что случилось? Где лодка?

Он привалился к ней плечом.

— Не знаю... Все должно быть в порядке... Почему я так сильно устал?.. — Петр закрыл глаза и потряс головой.

Теплая ладонь сестры легла ему на подбородок, приподняла голову.

— Герман где?! — с отчаянием в голосе крикнула Катя в лицо брату.

— Да, да, пойдем... Туда!.. — Петр слабо махнул рукой в сторону мыса.

Волны нескончаемо катились на песчаную косу. Здесь, на мелководе, будто возмущенные преградой, они пенились еще больше, но, обессиленные, падали с тяжелыми вздохами.



Петр и Катя не сразу увидели лодку. Она показалась как-то неожиданно среди шипящих волн и пены. И жутко было видеть в ней, захлестанной прибоем, скрюченную фигурку неподвижно сидящего человека...

24

Василий Кирикович то и дело подтыкал стеганое ватное одеяло, которым был накрыт Герман, прислушивался к ровному дыханию сына и пристально вглядывался в его раскрасневшееся лицо.

Был второй час ночи, но Василий Кирикович и не думал ложиться. Желто светила лампа, поставленная на разошедшуюся бочку, рядом, на табуретке, зеленела бутылка «Плиски», стояли два стакана — один пустой, другой с холодным черным кофе; тут же, на газете, лежали очищенные половинки апельсина, медицинский градусник, аспирин и еще какие-то таблетки.

Василий Кирикович ругал себя за то, что не проявил упорства, позволил Герману уйти на озеро. Он смотрел на такое родное, по-детски спокойное лицо сына, и мысли об отчужденности Германа представлялись ему совершенно необоснованными. Какая может быть отчужденность, если сын и всего-то еще мальчишка, наивный и доверчивый! Ну, иногда дерзит, но с кем этого не бывает в молодости? Болезнь роста. Хочет казаться взрослым, самостоятельным, независимым. Все это временное, и все пройдет.

Василий Кирикович бережно положил ладонь на горячий и потный лоб Германа.

«А вдруг начнется воспаление легких? Что тогда делать? — в трепетном страхе думал он. — Попросить Маркелова съездить за врачом? Но как будет добираться сюда врач? Не пешком же! Хорошо бы вызвать санитарный вертолет и улететь в Чудрино. Там должна быть приличная больница...»

Герман, не просыпаясь, стал выпрастывать руки — жарко! Но Василий Кирикович осторожно придержал одеяло, потом снова натянул его сыну до подбородка.

«Надо было, пожалуй, уложить его в избе, — по-

думал он с сожалением. — Так ведь сам не захотел...»

В сенях прошаркало, в сарай заглянула Акулина.

— Спит? — тихо спросила она.

— Спит! — И Василий Кирикович махнул рукой: — Закрой дверь, сквозняк!

Бабка хотела сказать, что согрела самовар и заварила крепкого чаю, но поспешно притворила дверь и только потом спросила:

— Может, чаю тебе принести? Горяченького!

— Ничего не надо. Пожалуйста, не беспокойся! — громким шепотом отозвался Василий Кирикович.

Герман проснулся на рассвете от нестерпимой жажды. Чадила лампа — кончался керосин; возле постели, сидя на согнутом пополам матрасе, спал отец. Он был в костюме, надетом поверх пижамы, и в домашних тапках. Герман протянул было к нему руку — разбудить, узнать, почему он так спит, и вдруг вспомнил: ночь, кипящие белые волны, лодка, заполненная водой, и жуткое ожидание, когда она станет тонуть; потом откуда-то появились Катя и Петр, они подошли к лодке прямо по воде, будто она держала их; говорили что-то хорошее, а сами стали вытаскивать его из лодки в озеро, и он понял — хотят утопить, и еще крепче вцепился в борта; тогда Петр так сжал его своими железными руками, что невозможно стало дышать, оторвал от лодки, и куда-то понес, и опять шел по воде, как по суше, а Катя брела рядом...

Какой страшный сон!.. Герман привстал в постели, увидел на табуретке бутылку с коньяком, стаканы, половинки апельсина, градусник и таблетки, несколько мгновений непонимающе смотрел на все это и понял: то был не сон! Дрожащей рукой взял стакан, наполненный чем-то темным, понюхал — кофе, жадно выпил и упал на подушку.

Он вспомнил, как хотел плыть за Петром, но лодка не слушалась, ее захлестывало волнами и разворачивало бортом на ветер. Вспомнилось это настолько отчетливо, что Герман, кажется, вновь ощущал, как раскачивается лодка, как в ногах плещется вода и в ней плавают мертвая рыба. Он хорошо помнил, что лодка начала тонуть — вода хлынула через борт и полностью залила ее, и он уже сидел в воде...

Болела голова, хотелось курить. Герман пошарил рукой возле постели, где обычно оставлял брюки, но брюк не было. Тогда он встал и как был, босой, без майки, в одних трусах, направился в избу. В дверях обернулся. Отец спал, свесив голову на грудь и уронив на колени белые руки.

Дед и бабка сидели на лавке рядышком, видно, о чем-то говорили, но, когда Герман вошел, умолкли.

— Вы что, никогда не спите?

— Какое тут спанье! — вздохнул дед. — Столько расстройств!

— Что за расстройство? — Герман полез за сигаретами в чемодан.

— Да ведь как же! У батьки рука болела, теперь ты захворал...

— Ничего я не захворал! — Герман распечатал пачку «Столичных». — Закури-ка лучше сигарету!

— Не привыкший я. Сроду их не курил, — однако протянул руку и неверными пальцами долго выуживал сигарету.

— Дак у тебя чего хоть болит-то? — спросила бабка.

— Ничего не болит. Голова немножко кружится.

— Ну и слава богу!.. А мы так спугались, когда Петька да Катька тебя привели... Лица на тебе не было — весь белый, мокрый и на ногах не стоишь...

— Конечно, нехорошо получилось, — вздохнул Герман.

— Ты расскажи, как вышло-то? — попросил дед. — Как на Янь-немь-то унесло?

— Я весло в воду уронил.

— А-а!.. — закивал старик. — Тогда конечно. И двумя-то веслами в эдакую ветрину не враз выгребешься. А я у Петьки спросил, чего получилось, а он так путем ничего и не сказал.

— Испугался я, когда весло упало.

— Э, парень! Тут кто хошь спугается... — Дед увидел, что сигарета выгорела до мундштука, сказал: — А папиросинки у тебя вправду хорошие, легкие и духовитые!..

— Вот и кури на здоровье! — и подал деду пачку. — А я пошел досыпать.

Трава, скошенная накануне, сверху подсохла, а снизу была зелена и свежа.

— Придется переворачивать, а то не высушить,— сказал Иван и посмотрел на небо. Оно было синё, лишь редкие облака проплывали на восток.

Все пятеро встали друг за дружкой по краю пожни. Замелькали отполированные ладонями грабловища, зашелестела трава.

Впереди шла Нюра, в выгоревшей юбке из чертовой кожи и в светлой с поблеклыми цветами кофте. Ловкими движениями граблей она поддевала срезанную конной косилкой траву и переворачивала подсохшей стороной книзу. На душе у нее было спокойно, как у всякой матери, когда семья в сборе и работа в радость. Потом, уже осенью, этот покой надолго покинет ее: Мишка куда-то поступит на работу, ближе бы к дому — не хуже, Петька уедет в далекий Петрозаводск, Люська и Колька уйдут в Саргу, в интернат, Катька уедет в Хийм-ярв, а Сашка, если поступит в техникум, будет жить в городе. А пока Нюра наслаждается этим тихим материнским счастьем и, как бывает в минуты душевного покоя, ни о чем тревожном не думает — просто живет, дышит утренней свежестью, слушает, как шумит лес под напористым ветром, и смотрит на подсохшие луговые цветы. А руки делают свое дело.

За Нюрой идет Иван. Ворот синей рубахи расстегнут, лоснится могучая грудь. Ивану непривычна эта немужицкая работа, грабли выглядят в его больших руках игрушкой, и на лице Ивана, во всей его крупной фигуре — вынужденное смирение. Петр видит, как неловко, коротенькими шажками, переступают ноги отца, и ему становится смешно.

— Тебе бы грабли-то сделать в сажень, так, глядишь, ловчее дело пошло бы! — говорит он.

Иван молчит, однако прибавляет шаг, чтобы не отстать от жены; грабли мелькают быстрее, но дело не ускоряется: зубья то царапают землю, то поддевают траву слишком высоко и потому нечисто. Иван делает шаг в сторону, пропуская вперед Петра. Но за

Петром плотно идут Катя и Мишка. Лицо Михаила насупленно, взгляд рассеян. Работает споро, размашисто, но чувствует отец: не видит сын ни травы, ни граблей, и в мыслях он не на поже, а бог знает где.

— Чего, Мишка, может, покурим?

— А?.. Перекурить?.. Можно.— Михаил ткнул грабловище в землю и полез в карман за сигаретами.

— Что-то ты больно снурый сей год приехал,— сказал отец, понизив голос и пытливо всматриваясь в лицо сына.— Все ли у тебя ладно? Уволился-то по-хорошему, без провинки?

— Конечно. Было бы что — сказал.

— А думаешь о чем?

— Да вот места себе по душе никак не найду,— вздохнул Михаил.— Я уж и в Хийм-ярь был, перед тем как сюда приехать.

— Вон как!..— Лицо Ивана посветлело.— Ну-ка пойдем сядем.

Они отошли в сторонку, сели на поваленное дерево. Иван вытащил из кармана кисет с табаком, стал свертывать сигарку.

— От всех наших большой тебе поклон.

— Спасибо! — Отец удовлетворенно кивнул.

— Была у меня мыслишка работу там подыскать, но... передумал.

— А что так? — удивился отец.

— Понимаешь, какая штука...— Михаил наморщил лоб, подыскивая нужные слова.— Отстал я... Ровесники мои давно при деле, старожилы там стали, иные уж и семьями обзавелись...

— Ну и что? И ты не век станешь холостовать.

— Тоже верно. Но меня, тато, сюда тянет. Была бы подходящая работа, ничего бы искать не стал... Ты сам-то не собираешься в Хийм-ярь переехать? Я слышал, там и жилье для нас готово.

— Не знаю, Мишка. Жилье есть. Дом новый, поставлен на хорошем месте. Сам смотрел. Только внутри еще не отделан. Переехать можно в любое время, да надо ли спешить? Хийм-ярь никуда не уйдет. А мы здесь, что ни говори, приобвыкли. Да и работать легче стало. Вы поднялись, Колька и Люська тоже помощники. Луговины, которые косим, расчищены, загоны

для телят так скроены, что хоть мокрое лето, хоть сухое, привесы можно держать высокие. Чего не работать? А вот ты о Хийм-ярй подумай. Техники много, работы хватит — и по уму, и по душе. Катке веселей было бы, да и нам спокойней, все-таки в одном совхозе и от дому недалеко. Пока дом обживаете да корни пускаете, той порой и Сашка ученье кончит, туда же приедет. А там уж и мы бы переехали. Глядишь, опять все в одном месте.

— Подумаю, тато!

— Ну и ладно.— Иван загасил окурок, вдавил его в землю каблуком сапога.

Оба, и отец и сын, разом встали и взялись за грабли.

К полудню небо заволокло тучами. Ветер закрутил, стал жестче. Огонь костра трепетал, желтыми лоскутьями срываясь с поленьев. В подвешенную кастрюлю, в которой кипела уха, залетал пепел. Нюра огорченно морщилась и терпеливо снимала его ложкой. На хвое, с наветренной стороны костра, было разостлано беленое домотканое полотенце, и Катя складывала на него большие ломти ноздреватого круглого хлеба, который резала по-крестьянски, упирая каравай о живот.

На пожне глухо раздавались удары топора: там Иван с сыновьями готовил стоговища.

— Кажется, зря старались,— сказала Нюра, взглянув на небо.

— Может, начать в копны складывать? Которое посуше...— отозвалась Катя.

— Погодим маленько. Мужики-то придут, так тогда буде...

Первые капли дождя упали, едва Маркеловы взялись за ложки. Катя и Петр вскочили.

— Ешьте! — остановил их отец.— Если польет, все равно не успеть.

— Сколько-нибудь-то успеем!

Иван крякнул и положил ложку на полотенце. Нюра прикрыла обед клеенкой, придавив ее по краям поленьями.

Работали молча и быстро, но все понимали: если

дождь пройдет стороной, недосохшее сено из копен опять придется расстилать.

Гроза приближалась. День, и без того сумрачный, померк. В порывистый шум ветра влился все нарастающий мерный гул: надвигался ливень.

Ослепительно голубоватым светом сверкнула молния. Небо будто расколосось. Хлынул дождь.

Маркеловы переживали грозу под разлапистой елью. Чадил потухающий костер; о клеенку, которой был прикрыт обед, дробно барабанили крупные капли.

«Поди, не догадались Люська да Колька перегнать стадо в лесок,— молча вздыхала Нюра.— И сами мокнут...»

Ее не очень-то огорчило, что сено не успели досушить: и так на погоду грешно обижаться — лето было для сенокоса добрым.

О том же думал Иван. Пусть полощет! Земля давно просит воды. Если и не удастся досушить это сено, урон невелик, без того уж поставлено тонн семнадцать, не меньше. Зато трава в загонах посвежеет. И еще он думал, что за пастьбу пора браться самому: последний месяц — главный, лучшие загонные пастбища за время сенокоса стравлены и, чтобы удержать привесы на диком разнотравье, пасти надо с умом. А ребята пускай отдохнут, за грибами да ягодами бегают да рыбу в охотку ловят...

...В то самое время, когда Маркеловы под елкой переживали дождь, в доме Тимошкиных было тихо. Василий Кирикович, поджав ноги, сидел в переднем углу под древней иконкой. Лицо его было растерянно. В самом деле, вот так скрываться от дождя, когда над головой есть и потолок, и крыша, невесело. Герман лежал на кровати и был накрыт поверх одеяла полиэтиленовой пленкой, на которую часто-часто шлепались тяжелые капли.

Кроме переднего угла, единственным сухим местом в избе была печь. На ней спасался Савельевич. Он лежал на животе, положив руки на катанки, а на руки — седую бороду, и смиренно наблюдал зрячим оком, как хлещет за окнами ливень.

Лишь бабка Акулина не хоронилась от сырости. Она мыла пол. Это удобно: воду не надо носить, да и

небесной-то водичкой лучше смывается грязь. Акулина усердно натирала пол голиком и дресвой, громко хлюпала тряпкой.

— Наверно, не успел Иванко сено сметать — смочило! — вздохнул старик.

— Бог смочил — бог и высушит! — откликнулась Акулина.

— А день-то все равно пропал.

— Да уж чего говорить — пропал. Эдак полощет!..

Василий Кирикович не прислушивался к этому разговору. Он с горечью думал о том, что отцовская изба совсем обветшала и что ей непременно надо сделать ремонт или хотя бы крышу починить. Сам он не мог — не умел плотничать — и готов был уплатить какие угодно деньги за такую работу. Но где подрядить людей? Попросить Маркелова? Но тот занят сенокосом. Да и что он сможет один? Ведь надо заготовить лес, отвезти бревна куда-то на пилораму, потом привезти тес... Василий Кирикович не мог ничего придумать и оттого чувствовал себя беспомощным и виноватым в том, что отец и мать вынуждены доживать век в доме, который еле держится...

Тревожно было в эти минуты и на душе Германа. На улице гроза, ливень, а Маркеловы на сенокосе, под открытым небом. Где они укрылись? Под деревьями? Или у них есть там какой-нибудь шалаш? Но разве спрячешься в шалаше или под елкой от такого дождя! И Катя, наверно, уже совсем промокла... А на пастбище мокнут Колька и Люська...

26

По древнему преданию, когда-то лесные дүхи жили с людьми, поселившимися на берегах Ким-ярь, в мире и согласии. Ежегодно в знак дружбы они дарили людям в утро ильина дня лося-быка, которого выгоняли из сузёмья прямо в деревню. Люди благодарно принимали этот дар. Они разводили на берегу большой костер, в огромном костре варили лосятину и угощали ею всякого, кто приходил на праздник.

Но однажды лесные духи решили испытать, не алчны ли люди, не кровожадны ли, и пригнали в деревню вместе с лосем-быком молодую лосиху. И люди не устояли перед соблазном принять столь щедрый дар — они закололи обоих зверей. Тогда разгневанные духи не только перестали посылать людям подарки, но и потребовали искупить кровь лосихи ежегодной жертвой домашнего быка.

Сколько десятилетий длилось такое жертвоприношение, никто, конечно, не знает. Во всяком случае, на памяти Кирика Савельевича и Митрия Маркелова никаких жертв уже не было. Но костры на берегах жгли, и обычай угощать друг друга сохранился. В Ким-ярь устраивалась большая пестрая ярмарка, на которую стекался народ из всех окрестных деревень. Наиболее отчаянные парни приезжали на верховых лошадях из Сарги и Сохты. Кимьярские деревни захлестывало всеобщее гулянье. Молодежь пела песни, устраивала возле костров пляски и хороводы. Любители лапты затевали за Лахтой, на широком лугу, лихую игру, и кожаный мяч, туго набитый шерстью, черной точкой таял в небе.

Уже давно ильин день, как и другие религиозные праздники, был бы предан забвению кимьярскими стариками, если б не случайное обстоятельство: одиннадцать лет назад старики, будто по сговору, пришли второго августа в Лахту проведать Маркеловых и Тимошкиных, а те празднуют — отмечают день рождения Петьки и окончание сенокоса.

Радужно принятые хлебосольной семьей, старики так славно провели тот день, что уговорились каждый год собираться в Лахте второго августа. К этому дню они загодя запасали гостинцы, чтобы угощать друг друга, надевали лучшие наряды. Старики пели еще не забытые песни, вспоминали свою молодость, делились заботами и думами и расходились посветлевшими.

И вот теперь к Маркеловым опять стекались гости. Еще с вечера пришли из-за озера, из деревеньки Каскьнемь, старушки Окся Карачева и Фекла Мишкина; поутру из Сарь-ярь приплыл на новенькой просмоленной долбленке лесник Степан Кагачев со своей женой Натальей, а в десятом часу утра на озере показалась еще

одна лодка — это плыл на праздник из Чуру-немь старейший кимьярский житель Тимой Онькин.

Как обычно, Маркеловы всей семьей готовились принимать гостей. Столы были вынесены на улицу и покрыты новенькими клеенками с голубым клетчатым узором. На алюминиевом круглом подносе жарким солнцем горел ведерный самовар красной меди; в золотистых берестяных плетенках румянились сдобные замысловато извитые ватрушки и домашние пряники, горками возвышались на разостланных льняных полотенцах калитки с картофельной, творожной и пшенной начинками; на белой осиновой доске, гладкой и чистой, лежал огромный рыбник.

Поодаль от столов пылал костер — какой же ильин день без костра! — и в большом котле варилась баранина. Возле костра дежурила нарядная — в розовой кофточке и черной юбке — Катя. Она следила, чтобы огонь был равномерным и не очень жарким и чтобы суп не лился через край. Петр выносил из избы скамейки и стулья, Нюра, в шелковом небесного цвета платье, раскладывала на столах посуду. Ей помогала Наталья Кагачева, крупная и еще весьма крепкая, хоть уже и немолодая женщина. Муж Натальи — Степан, лысый дюжий старик с подвижным лицом и очень живыми хитроватыми глазами, сидел под березой и рассказывал Митрию Маркелову о своем житье-бытье.

— Ты думаешь, я из-за денег работаю? — говорил Степан. — Мне деньги — тьфу! — Он сплюнул в траву. — Пенсия идет, и дочери хорошо помогают. Я тебе, Митрий Софронович, по совести скажу: неохота чужого человека к лесу допускать. А как же? Покуда я сам — в лесу покой и порядок, все, как надо. А придет какой-нибудь услонец бездомный, он такого наворочает! Те же туристы. Недогляди за ними, весь наш вековечный лес спалят!.. Вот чего боюсь.

— Да ведь худо двоим-то! — сказал Митрий. — У нас хоть ребятишки есть... А ежели, не дай бог, захвораете?

— Наталья от всякой хворобы лечит. Трав этих у нее под потолком повешено — в жисть не испытать!

Михаил, краем уха слышавший этот разговор, спросил:

— А мудреная работа — лесником? Ты вот, к примеру, чего в лесу делаешь?

— У нас, сынок, делать нечего, — отозвался Степан. — Лес, он и без меня добро растет. Мудреного, парень, немного... — И опять обернулся к Митрию продолжать прерванную беседу.

Хромая Окся Карачева и маленькая сгорбленная Фекла Мишкина молчком развязывали свои узелки и выкладывали на стол вареные яйца, пряженые пирожки с грибами, печеную репу. Смущаясь своих скромных гостинцев, они украдкой поглядывали на Ивана и пораженно качали головами: экое на столах-то богатство!..

Иван Маркелов, чисто выбритый, в белой вышитой рубаше и скрипучих яловых сапогах, степенно прохаживался от дома к столам и обратно. Его удивляло, что до сих пор никто из Тимошкиных на улице не показался.

А в доме Кирика в эту пору было не по-праздничному уныло. Старики с тайной тревогой и нетерпением ждали, когда встанет Василий Кирикович. Еще вечером он был приглашен принять участие в празднестве, но отказался — праздник-то религиозный! — и тем внес в сердце отца и матери смятение.

Почти всю ночь старики не смыкали глаз — гадали, как же быть, а потом решили, что утром сын одумается. Когда он увидит, что к Маркеловым собрались гости из разных деревень, оставаться в стороне будет неловко. Акулина настряпала пирогов, сдобных ватрушек, напекла калиток и нажарила рыбы. Самое удавшееся изстряпни она отобрала в вымытое добела решето, накрыла чистым полотенцем и положила в шкаф рядом с бутылкой водки, которую еще ночью достала из-под пола и хорошенько обтерла пыль. Успокоившись этими приготовлениями, она немножко повеселела и теперь потчевала внука своим печеньем.

— Калиточек-то, калиточек-то поешь! Те — картофельные, а вот эти — пшеничные, горяченькие еще! — и подвигала внуку тарелки.

— А вы сами-то почему не завтракаете? — удивился Герман.

— Дак ежели в гости пойдем!..

— Смешно! Я ведь тоже пойду. Значит, и мне не есть?

— Что ты, что ты! — испугалась бабка. — Это мы, старики, а ты — молодой, ешь на здоровье, на нас не гляди! — Она встала и, шурша цветастым ситцевым сарафаном, прошла в кухню, к окну. — Однако, Маркелы уж угощение собирают, — с беспокойством сообщила она. — Поди, Василья-то будить придется.

— Неловко будить-то, не обиделся бы, — ответил Кирик. В новых черных брюках и в полосатой хрустящей рубашке, он сидел на лавке помолодевший, аккуратно причесанный.

— Его вообще нечего ждать, — сказал Герман и посмотрел на деда: он не мог отделаться от мысли, что эта нарядная рубашка, как и бабушкин сарафан, шита руками Кати.

— Как же не ждать? — заволновался старик. — Без его никак нельзя идти!

— Но он же сказал, что не пойдет. Я ждать его не собираюсь. Поем и сразу пойду.

— Худо, когда в гости не вместе идут, — сказала Акулина. — Ты уж, Германушко, не обидь нас, не ходи один. Может, и батьку пособишь уговорить.

Герман отодвинул от себя тарелку.

— Тогда я пошел его будить. — Он вытер руки полотенцем и вышел из избы.

Василий Кирикович не спал — делал зарядку. Он медленно приседал, придерживаясь руками за старинные кросна, и столь же медленно поднимался, вслух отсчитывая интервал между приседаниями.

— Давай скорее! — крикнул с порога Герман. — Тебя ждем, в гости пора двигать!

Василий Кирикович ничего не сказал, сделал еще два приседания, несколько раз глубоко вздохнул и стал натягивать рубашку. Лишь после того, как он умылся и сел к столу, Акулина несмело спросила:

— Дак чего, Васенька, как праздновать-то будем? Ведь все к Маркелам собрались.

— Вот и хорошо. Идите.

— Как же мы без тебя?

— Вот именно! — поддержал бабку Герман. — Идти надо всем.

Честно говоря, ему было безразлично, пойдет отец на праздник или нет, но он знал: отказ отца выйти к общему столу очень обидит деда и бабу.

Савельевич вздохнул, с беспокойством посмотрел в окно. Тимой Онькин уже причалил к берегу и, перекинув на батожке узелок с гостинцами через плечо, поднимался по тропке. Седой и пышнобородый, как бог Саваоф, в голубой рубаше с красным шелковым поясом, он шагал степенно, и ветер шевелил на его голове белые, как лебяжий пух, волосы.

«Может, он Василья уговорит?» — с надеждой подумал Савельевич и сказал жене:

— Ну-ко, зови Тимою, а то к Иванке уйдет!

Акулина мигом вышла из избы. Василий Кирикович посмотрел в окно и сразу вспомнил этого невысокого плотного старика, который и тридцать лет назад, кажется, выглядел так же.

— Он еще до сих пор жив? Сколько же ему лет?

— Много!.. — покачал головой Савельевич. — Я так и не знаю хорошо. Поди, сто есть...

Акулина махнула с крыльца рукой, и Тимою свернул к дому Тимошкиных.

А Герман сидел как на углях. Ему не терпелось скорей идти туда, к костру, и задержка его раздражала.

Дверь медленно отворилась. На пороге показался хромовый сапог, а секундой позже в дверном проеме предстал румянолицый святообразный старец. Он низко поклонился и сказал по-вепски:

— Дай-ко бог вам здоровья, Окулина Матвеевна и Кирик Савельевич!.. И вам, люди добрые, — добавил он по-русски и чуть кивнул Василию Кириковичу и Герману.

— Ты чего? Али Василья нашего не узнал? — воскликнула Акулина.

Старик пристально взгляделся в лицо Василия Кириковича и, конечно же, не узнал его, но с широченной улыбкой радостно произнес:

— Охо-хо!.. Кого вижу?! Не ты ли, Кирикович? Здравствуй-ко! — и долго тряс мягкую руку Василия. — Сколько годов не видел тебя!.. А это сын? — и указал желтым пальцем на Германа.

— Сын.

— Хорошо!.. — Тимофей склонился над своим узлом, развязал его, поковырялся и вытащил большого копченого леща да четвертинку водки. — За таких гостей, Кирик Савельевич да Окулина Матвеевна, не грех и стопочку пропустить! — весело сказал он и направился к столу.

— Ну что ты, Тимофей Афанасьевич! — воскликнул Василий Кирикович. — Зачем все это? У нас же найдется, чем тебя угостить!

— Я тоже могу угощать! — И Тимофей со стуком выставил четвертинку на столешницу.

«Теперь застрянем!..» — с досадой подумал Герман.

Акулина внесла из кухни сковороду жареной рыбы, а Василий Кирикович достал из чемодана бутылку «Плиски» и, пока Тимофей безуспешно пытался открыть свою четвертинку, разлил по стаканам коньяка. И как раз в это время в избу вошел Митрий Маркелов.

— Вы что, соседушки?! — воскликнул, позабыв поздороваться, изумленный старик. — Али наособицу праздновать?

— Не шуми, Митрий! — поспешила вмешаться Акулина. — Выпей-ка с Васильем да с Тимофеем Офонасьевичем, и тогда уж пойдем.

— Ой, неладно делаешь, Окулина! — укоризненно сказал Митрий. — И Офонасьича задержала. Ведь все давно собрались, вас только и ждем!

— Напрасно ждете, — не взглянув на Митрия, оборонил Василий Кирикович. — Мне не до праздника. — И матери: — Чего же ты стоишь? Садись, угощай гостя! И вы тоже, — он обернулся к Герману и отцу, — двигайтесь!

Четвертинка дрогнула в руках Тимофея. Он впился глазами в лицо Василия Кириковича, будто хотел разглядеть в нем что-то плохо различимое.

Акулина схватила Митрия за рукав.

— Ну-ко, сядь к столу!

— Нет уж, спасибо!.. Чего людям-то сказать? Не придете?

Кирик беспомощно глянул на сына:

— Как, Вася? Ведь неловко не ходить-то!..

— Я же сказал — идите. Без меня идите.

Тимой близоруко прищурился. На мгновение ему почудилось, что он видит перед собой собственного внука, к которому как-то ездил в Ленинград и который, принимая гостей, еще накануне предупреждал его, родного деда: «Завтра, пока у меня будут люди, ты уж посиди в кухне...»

— Ну, ежели так, я пойду! — Это сказал Митрий. Тимой встрепенулся, порывисто встал.

— Нарови, юхтес мянэмэй! ¹ — Он взял со стола свою четвертинку и молча направился к двери вслед за Митрием.

— Не обижайте, погодите!.. — метнулась к порогу Акулина.

Но дверь за стариками уже захлопнулась.

— Нехорошо так, Вася!.. — с горечью произнес Савельевич. — Митрий с добром пришел, в гости звать...

Акулина, шмыгая носом, ушла в кухню.

— Н-да, получилось действительно что-то не то. — Василий Кирикович тупо смотрел на накрытый стол. — Вроде бы я и не сказал ничего такого...

— Сказал — не сказал!.. — сверкнул глазами Герман. — Хотя бы из уважения надо идти.

— Правда, внучек, правда! — кивнул Савельевич. — Людей, Вася, уважить надо, а то подумают — побрезговал...

Акулина, прислушиваясь к разговору в горнице, смотрела на улицу из-за оконного косяка. Она видела, как чинно, по-старшинству, уселась за стол семья Маркеловых, как Тимой всунулся между Оксей и Феклой и обоих старушек похлопал по плечам, как рядышком сели Степан и Наталья Кагачевы.

«Господи! Все собрались, а мы-то!.. — с тоской думала она. — Как после этого людям в глаза смотреть!..»

Иван поднял на веревке из колодца флягу с пивом, установил ее в тени берез, что-то сказал отцу и направился к дому Тимошкиных. Акулина отпрянула от окна.

— Будет перед людьми-то страмиться! Вон уж сам Иванко идет к нам!

Кирик Савельевич умоляюще глянул на сына.

¹ Погоди, вместе пойдем! (венск.)

— Ладно. Вы идите, а я попоздней выйду,— пообещал Василий Кирикович.

— Ну хоть попоздней! — обрадовался старик. — Только смотри не обмани!..

Акулина открыла шкаф, сунула мужу бутылку водки, а сама схватила решето со тряпней.

— Пойдем, внучек!..

Они встретились с Маркеловым возле крыльца.

— А Василий чего?

— Да вишь ли,— замялся Савельевич,— неловко ему сразу-то... Он потом придет!

Катя сидела ближе к левому краю длинного стола между матерью и Петром. Ее розовую кофточку Герман отыскал взглядом еще издали.

«Пришли бы раньше, может быть, удалось сесть рядом», — с сожалением подумал он.

27

Появление Тимошкиных на миг расстроило уже определившееся застолье. Гости раскланивались, спрашивались друг у друга о здоровье, с любопытством разглядывали Германа.

— Это внук Савельевича! — отрекомендовал его Иван. — Сын Василия.

— А сам-то Васька где? Он-то придет?

— Придет, придет! — закивал Кирик. — Скоро придет!..

— Садись к Петьке. — Иван Маркелов легонько подтолкнул Германа и направился на свое место во главу праздничного стола.

Петр отодвинулся от сестры, протянул руку. Герман благодарно пожал его жесткую ладонь и сел рядом с Катей.

— С праздником! — шепнул он.

Она улыбнулась.

Когда за столом установилась тишина, поднялся Митрий. Он оправил полотняную вышитую рубаху, окинул всех своим ясным взглядом и сказал по-вепски:

— Дорогие гости! Опять мы собрались вместе. Но с каждым годом нас, стариков, остается все меньше и меньше. Прошлый год мы поминали в этот день Олешку Стафеева, теперь помянем еще двоих — Захарку Кирикова и его женку Марью... Вечная им память!..

Окся запричитала. Ее высокий и неожиданно сильный голос врезался в тишину тягучим, щемящим сердце напевом. Петр тихонько выдвинул ящик стола и включил магнитофон. Плач Оксы подхватила Фекла, за ней — Акулина.

Никогда прежде Герман не слышал причитаний и принял их за песню, от которой мороз по коже. Он во все глаза смотрел по сторонам, видел, как по щекам старушек текут слезы, и ничего не понимал.

— Что случилось? Почему они плачут? — шепотом спросил он у Кати.

Она не ответила, лишь ниже склонила голову, и он заметил, что на ее длинных густых ресницах тоже дрожит слеза. Тогда и его голова вдруг поникла, и сами собой стиснулись зубы, будто он испугался, что вот-вот может заплакать от этой печальной песни.

Причитания оборвались так же внезапно, как и возникли. За столом сразу стало оживленно, и Герман заметил, что все поглядывают на старого деда Тимою, будто ждут от него чего-то. И вот уже Тимою положил ложку на краешек стола и приготовился говорить.

Но на этот раз в мудрых глазах старца не было привычной смешинки, в них сквозило что-то настораживающее, суровое. Густая седина бровей не приподнялась, как всегда, морщины на лице не брызнули лучами улыбки. И все притихли, ожидая чего-то необычного.

Тимою вставал медленно, будто поднимал на плечах тяжесть своей долгой жизни.

— Я хочу сказать по-русскому, потому что внук Кирика не знает по-нашему. А я хочу, чтобы он слышал, как я скажу...

Герман поднял глаза на старика, но тотчас опустил их.

— Тебе, Петька, сегодня девятнадцать годов исполнилось...

Герман глянул на Петра — о дне рождения он



ничего не знал — и с чувством молча сжал его руку повыше локтя.

— Ты — ученый, — продолжал Тимой. — Учись, со господом! Может, сделаешься большим человеком. Я хочу, чтобы ты сделался большим человеком, вот!.. — Старик перевел дыхание. — Мне девяносто восемь годов. Жизнь кончается. Будущим летом в этот день я уже не поздравлю тебя... Потому нонче хочу наказ дать. — Тимой, как пророк, поднял скрюченный перст над седой головой: — Запомни, Петька! Забыл отца-мать — для роду потерянный, забыл свой язык — для народу потерянный, а землю родную забудешь — птичьим перышком станешь. Выше птицы то перышко ветер носит, а что в ём толку?.. — Он помолчал. — Дай бог тебе здоровья и многолетия!

Петр встал и поясно поклонился старику.

Все закивали, женщины невнятно на своем языке шептали здравицы в честь Петра, а Савельевич нетерпеливо оглянулся на свой дом и еще сильнее ссутулил костлявые плечи.

— Ну уж за тебя-то я выпью! — сказал Герман и чокнулся с Петром. Потом обернулся к Кате: — За братишку-то!

Она подняла крохотную граненую рюмочку, беззвучно коснулась ею стопки Германа и тихо сказала:

— Не обращай на меня внимания. И вообще... У нас не принято уговаривать.

Необычный тост нарушил привычный ход праздника, и каждый вольно или невольно задумался над словами старого Тимоя. Фекла и Окся, забытые своими детьми, украдкой утирали слезы. Не было видимой причины для печали лишь у Митрия Маркелова, и дети, и внуки представлялись ему достойными продолжателями рода. И он сказал:

— Чего схудоумились, дорогие гости, после речей Тимофея Офонасьевича? Не нам, старикам, речи те сказаны и не нам их слушать, а вот им! — Митрий повел рукой в сторону внуков и Германа. — Пускай они думают. А наше дело сегодня — гулять, песни петь да свои молодые годы вспоминать!..

И у всех — будто гора с плеч. Заозерные гости сосредоточенно хлебали мясной суп. Они степенно, даже

торжественно пронесли над столом полные ложки, бережно подставляя под них хлеб. Герман пожалел, что плотно позавтракал: теперь, когда все были заняты едой, он чувствовал себя неловко. Он подумал, что хорошо бы сейчас уйти с Петром и Катей куда-нибудь на лесную полянку или на берег ручья, посидеть бы свободно, поговорить, поваляться на траве. Или у них не принято «откалываться»? Когда Петр и Катя отодвинули пустые тарелки, Герман все-таки предложил:

— Может быть, прогуляемся, пока они здесь пируют?

— Можно, — охотно согласился Петр и взглянул на сестру. — Пойдем?

Втроем они разом встали.

— Петька, смотри недолго, — строго предупредил сына Иван Маркелов. — Гармонья понадобится.

— Мы только на бережок, — отозвался Петр.

Герману меньше всего хотелось идти к озеру — это лишний раз напомнило бы случившееся в шторм, но он промолчал.

Озеро было синим, ласковым и покойным. Прозрачные волны неслышно набегали на берег и таяли, просачиваясь меж омытых камней.

— Ты что, гармонист? — спросил Герман.

— Так, немножко, — улыбнулся Петр. — Старикам-то могу подыграть.

Катя шла впереди. На ногах ее были новые беленькие туфли, и Герман догадался — подарок старшего брата.

— Кстати, что это за песня, которую пели старушки? — спросил он. — Ты еще на магнитофон ее записал.

— Это не совсем песня. Это был плач по умершим. Причитание. Помнишь, в «Слове о полку Игореве» есть плач Ярославны?

— Они его знают?! — поразился Герман.

— Ты не понял меня. Я просто для примера. Слова, конечно, другие, и содержание другое. Своеобразная импровизация. Старушки пели-плакали о своих матерях и отцах, о братьях и сестрах, которых уже нет в живых. Все-таки что ни говори, а невеселая штука — одинокая старость.

Герман молчал. За все дни, проведенные в Лахте, он ни разу не задумывался над тем, как жили до их приезда его дед и бабка. Целые месяцы, годы вдвоем. Изю дня в день одно и то же. Разве им не было тоскливо и одиноко? Потому-то бабушка и пела эту печальную песню.

В памяти тотчас всплыли первые минуты встречи с дедом и бабкой. Ничто доброе не шевельнулось тогда в его душе, и ничего, кроме брезгливости, он не чувствовал в те минуты. А перед ним были родные люди... Герман вздохнул.

— Знаете что? — вдруг обернулась Катя. — Давай-те сходим завтра за морошкой!

— Я готов хоть куда, — грустно улыбнулся Герман. — Хоть к черту в пекло!

— Ну зачем же так!.. — И брату: — Чего молчишь? Сходим?

— Можно. Только морошка-то уже перезрела. Раньше надо было.

— А я, между прочим, никогда не видел морошку, — сказал Герман. — Слышал, что есть такая ягода, а не видал.

— Отличная ягода! — отозвался Петр. — Желтая, как лимон. Сочная, ароматная. Только не каждый год бывает. Надо будет с Мишей посоветоваться, куда лучше идти. Он у нас в лесных вопросах дока, все ягодные места знает.

В деревне неожиданно взвилась песня. Петр улыбнулся:

— Старички-то дают!.. Сейчас гармонь потребуют. Они повернули к деревне. Когда поднимались по тропке, Катя сказала брату:

— Я, пожалуй, схожу к Люське и Кольке. Что мне тут сидеть?

— Сходи. Гостинцев отнесешь. По случаю моего дня рождения.

— Можно, и я с тобой? — быстро спросил Герман.

— Ну, если желаешь... — Катя пожала плечами. — Только я боюсь, что тебе будет скучно с нами.

— Да мы же с Колькой друзья! У костерка вместе сидели, он меня печеными окунями угощал, а я ему Буржуя помогал искать.

Катя промолчала. Она не имела ничего против того, чтобы Герман пошел с нею. Но она не могла представить себе, как пойдет с парнем на виду у отца, матери, братьев и всех гостей.

28

Песня, русская, но никогда прежде не слышанная Германом, звучала на удивление красиво. Вел ее чистый и сильный голос Нюры Маркеловой, к которой были обращены взгляды поющих. Пели все, в том числе Кирик и Акулина. И они тоже смотрели на Нюру, и лица их были румяны и взволнованны.

Петр взял со стула черную, сверкающую лаком «хромку», сел и осторожно раздвинул мехи. Звуки гармоники вплелись в хор настолько мягко, что Герман не сразу расслышал их. Но постепенно мелодия набирала силу, и по мере того, как звучала уверенней и свободней, певцы переводили свои взгляды на гармониста. И Нюра теперь тоже смотрела на сына, и скоро песня зазвенела еще более напевно и стройно.

Герман не вникал в содержание песни, но, когда сидящие за столом с выражением пропели, как князь выхватил саблю и голова какого-то старика — конечно же, одинокого и незащитного! — покатила на луг, ему вдруг сделалось так жаль и своего деда, и свою бабу, и сгорбленную старушку Феклу, и сухонькую Оксю, и почти столетнего Тимоя, будто это над их седыми головами поднялась чья-то жестокая рука с острой саблей. Он посмотрел на Катю. Она слушала песню рассеянно и, казалось, была занята какими-то своими мыслями.

Как только песня смолкла, все задвигались, заговорили, а Иван и Митрий стали разливать водку. Воспользовавшись этим оживлением, Герман обернулся к Кате, сказал:

— Ну что, пошли?

Он хотел сказать это очень тихо, но получилось довольно громко, и Нюра с любопытством взглянула на дочь, потом на Германа.

— Мы думаем сходить к Коле и Люсе,— смущенно пояснил Герман.— Все-таки им там скучно в такой день...

— Подите, подите!..— добродушно отозвалась Нюра.

Они вышли из-за стола, когда под звонкие переборы гармоники разудало грянула старинная песня «Златые горы».

Шли рядом, но Катя держалась в таком отдалении, чтобы как-нибудь случайно не задеть Германа локтем.

— Дай мне! — Герман протянул было руку к узелку, но Катя еще больше отстранилась.

— На нас же смотрят!..

— Ну и что? Пускай смотрят.

Он взглянул на ее серьезное, тронутое стыдливым румянцем лицо и только тут почувствовал, насколько сильно она смущена, как неуверенны ее движения. И он больше не пытался ни прикоснуться к ней, ни заговорить первым.

Бессловесные, настороженные и взволнованные взаимной близостью, они прошли по деревне и свернули на старую дорогу. Теперь их уже никто не мог видеть, и Герман опять взялся рукой за узелок.

— Зачем? — удивилась Катя.— Он же не тяжелый.

— Боишься, что я съем твои подарочные пирожки?

Она засмеялась, но узелок отдала.

— Ешь. Не жалко.

— А теперь дай руку.

— А если нет?

— Тогда возьми мою,— нашелся Герман и протянул ей свою руку. Катя хотела шлепнуть по ней, но он ловко поймал ее ладонь.— Какая большая у тебя рука!..

— Правда? А я думала — нормальная.

— Конечно, нормальная. Очень нежная рука.

— Ну да! — Она повернула ладонь кверху.— Вон какие мозоли!

Герман ласково провел своими тонкими пальцами по ее ладони. Кожа была сухой и жесткой.

— Тебе много приходится работать,— с сочувствием сказал он.— Когда Колька сказал, что ты ночью

пасла телят, мне все представлялось: темная, темная ночь, ветер, дождь, а ты одна с этими телятами, промокшая, беззащитная...

— Какой ты смешной!.. Когда я пасла, были белые ночи. Светло, хоть книжки читай. Птицы заливаются, туманы кругом белеют, и цветами пахнет. Хорошо!.. А травы много, телята не разбегаются. Разложу огонь и пою песни. Или птиц слушаю...

Они брели по проселку, взявшись за руки, и Катя говорила все это простодушно, искренне, и на ее лице не было ни малейшего смущения.

— А с чего это вдруг ты послал мне с Колькой записку? — неожиданно спросила она.

Герман слегка растерялся.

— Я так долго не видел тебя...

— Интересно!.. Я же не пряталась.

— А мне казалось, прячешься. Вернее, тебя упрятали. Завалили работой, что даже из дому выйти некогда.

— Работы хватает...

— Ты хоть от меня-то не скрывай... Я ведь теперь знаю, чем ты занималась все вечера.

— Я и не скрываю. Но не могла же я отказать бабушке? Она прибежала к нам такая счастливая, от радости плачет...

— Спасибо тебе!..— Герман легонько сжал ее руку.— А тогда я ничего не знал и на Михаила думал...

— Что думал? — не поняла Катя.

— Ну, что он тебе работу дал. Ты же как раз с того дня, как он приехал, перестала на улице показываться. Глупо, правда?

— Глупо,— согласилась она.— Вообще мне повезло с братьями. Сколько помню, мы никогда не ссорились, никто никого не обижал, все друг другу помогали. Так вот и выросли...

Герман вспомнил, с каким недоумением воспринял Колька вопрос, не обижает ли его старшая сестра, и подумал, что придет время, когда и Колька и Люська смогут вот так же сказать, что им повезло в детстве.

— Ты счастливая?

Катя неопределенно пожала плечами.

— Я как-то не думала об этом.

— А тебе нравится здесь жить?

— Конечно! Здесь же мой дом. И разве плохо у нас? Но ведь я дома только летом,— сказала она с сожалением.— А зимой в интернате. Целых десять зим! Сначала в Сарге, потом в Чудрине... Помню, когда я пошла в первый класс, через две недели учебы мне так захотелось домой, что чуть не реву. И вот в субботу, после уроков, мы с Петькой — он тогда в третьем был — взяли да и отправились домой на воскресенье.

— Из Сарги?

— Ну да!.. А ночи в сентябре темные-темные. Добре́ли до Кюндл-мяги, и больше я не могу — ноги не держат. Тогда Петька давай на себе меня тащить. До половины горы дотащил, и тоже силенок не стало. Мы уж на четвереньках и всяко... В конце концов добрались до дому. Заползли на крыльцо и давай стучать. Вот, думаем, обрадуются дома!.. Дверь открыл папа. Увидел нас — и слова сказать не может: испугался, думал, беда какая стряслась. Подхватил нас под мышки и в избу. Мама лампу засветила, дрожит вся. «Чего, спрашивает, случилось?» Петька молчит — он уже кое-что понимал, а я и говорю: «Домой охота стало!» Тогда папа снял с гвоздя ремень и по очереди — сначала Петьку, потом меня, потом опять Петьку. Больно! А мама молчит. По три раза стегнул и спрашивает: «Еще домой охота?» Мы в один голос: «Не, больше неохота!..» Потом, когда старше-то стали да узнали прямые тропинки, и на воскресенья иногда прибегали. Тогда уж папа ничего не говорил: он ведь тоже понимал, как нас домой тянет... Ну, а лето — лето для нас праздник!..

Простота, с которой держалась Катя, и непосредственность, с которой она рассказывала о своем детстве, придавали девушке особое обаяние. Катя представилась Герману настолько понятной и близкой, будто вся ее жизнь прошла у него на глазах. Это было новое и непривычное ощущение. Он сказал:

— Как хорошо, что мы встретились! Я думал о тебе все эти дни. Увидел тебя первый раз, когда ты с Петром ходила на озеро, и сразу поверил, что ты вот такая...

— Какая?

— Ну вот такая, какая есть — хорошая, красивая. Я даже не могу точно сказать — ты просто удивительная!

— Это тебе кажется, — вздохнула Катя. — Потому что я здесь — одна.

— Неправда! Будь здесь хоть сто, хоть тыща девчонок...

— Не вы-ду-мы-вай!.. — перебила она его. — Глупости все это.

— Почему глупости?

— Так... — И вдруг спросила: — Ты дружил с девчонками?

Вопрос — как ведро холодной воды.

— Было... — неохотно признался Герман. — Вообще мне не везло на девчонок. В нашей компании все какие-то избалованные, капризные...

— У тебя осталась в городе девушка?

— Ну, осталась... Накрашенная воображуля... Мне неприятно о ней вспоминать.

— Вот как!.. Зачем же с ней дружишь?

— Я и не дружил. Так, болтался. Ходили на танцы, на вечеринки...

— Она красивая?

— Красивая. А что толку? Пустая...

— Интересно!.. Здесь тебе неприятно вспоминать, а там, наверное, ты говорил ей, что она самая лучшая. Ведь говорил? — Она заглянула ему в глаза.

— Говорил, — признался Герман. — Я много говорил ей всего.

— Вот видишь!.. — Она высвободила свою ладонь из его ослабевших пальцев. — А вернешься в город, и меня будешь такими же словами обзывать.

— Катя! — воскликнул пораженный Герман.

— А что? Получится как с той девчонкой. Пока была рядом, пока ты с ней ходил на танцы, тебе казалось, что она самая хорошая на свете. А теперь, когда ее нет, ты думаешь о ней иначе. Так и со мной будет.

— Да не думал я никогда, что она самая хорошая!

— Не думал? Тогда зачем обманывал?

— Она привыкла. Каждый парень, который хоть раз провожал ее, объяснялся ей в любви.

— И ты объяснялся? — На Германа смотрели

встревоженные девичьи глаза, и он не мог, не имел сил лгать этим глазам.

Он попытался отшутиться:

— А что я — рыжий? Я, как все...

Лицо Кати потускнело.

— Выходит, я права, — вздохнула она и остановилась.

— А хочешь, я расскажу, какая она есть?

— Нет. Ты и так много сказал. — Она помолчала. — Не обижайся, но дальше я пойду одна, — и протянула руку к узелку.

Он не противился и молчал, растерянно глядя на нее.

— Может, все, что ты говорил мне, — правда, но больше не надо!.. — Катя повернулась и пошла дальше по заросшему проселку.

29

Солнце стояло еще высоко, когда празднество пошло на спад. Песни были перепеты, плясуны — много ли старикам надо? — выдохлись. Дед Тимой улегся под березами и уснул. Нюра вынесла подушку и бережно подсунула ее под седую голову старца. Фекла и Окся ушли на отдых в сеник к Маркеловым.

Иван, навалившись грудью на стол, долго смотрел на свои большие коричневые руки, потом обнял Петра, который сидел рядом с гармошкой на коленях, сказал:

— Давай мою, любимую!..

Не успел Петр наиграть мотив, он запел:

Меж высоких лесов затерялся
Небогатое наше село...

Пел Иван старательно низким печальным голосом, на свой лад переиначивая слова.

Бабка Акулина, заплаканная и расстроенная, тормошила деда Кирика, который недвижимо сидел за столом, уронив голову на руки.

— Не вышел... Так и не вышел к людям. Сраму-то сколько!..— бормотал старик.

— Ой, не тяни душу! — шептала Акулина, боясь помешать песне.— И без того тошно. Пойдем домой-то! Василья-то накормить надо. Мы-то сытые, а он— голодный!..

Акулина уже бегала домой проведать сына, но нашла его спящим в сарае. Теперь она боялась, что Василий проснулся, а дома никого нет, и он может обидеться.

К Акулине подошел Митрий.

— Не трожь его, пускай тут сидит,— сказал он.— А то уведешь расстроенного, дак еще и с Васькой поскандалит!

— Ничего не будет, пособи-ко лучше увести.

Вдвоем они вытащили из-за стола размякшего деда и повели к дому.

— Ежели бы твой Иванко не вышел, а? — с горечью говорил старик.

Михаил Маркелов подошел к леснику Степану Кагачеву, который с умилением слушал песню Ивана, молча сел рядышком, а когда песня смолкла, сказал:

— Пойдем-ка, дедо, пройдемся по деревне. Поговорить с тобой хочу.

— Чего же — пойдем!

Степан хорошо знал страсть Михаила к лесу и сам немножко промышлял, а у охотников, как известно, всегда есть о чем побеседовать друг с другом.

— Значит, говоришь, лесником работаешь? — раздумчиво сказал Михаил, когда они отделились.— Боишься чужого человека до лесу допустить?

Степан недоуменно глянул на Михаила и, не уловив, к чему тот клонит, туманно ответил:

— Иной чужой ближе родного... Всяко бывает! Да только путный-то человек наособицу от людей искать приют в сузёме не станет.

— Может, и так... Ну, а если бы я в лесники попросился? На твое место...

— Ты?! — Степан остановился и раскрыл рот, будто хватил горячего.— А зря, Мишка, смеешься,— обиделся он.— Тебе бы моя работа очень подошла.

— Я не смеюсь. Из Ленинграда я уехал. Совсем.

Договор кончился, рассчитался и уехал. Не могу я без Ким-ярь жить. Душа без него, как котел без ухи,— ржавеет. Вот и не знаю, что делать. В Хийм-ярь заезжал, да что-то не очень туда тянет.

Если бы он знал, сколько мыслей в одно мгновение пронеслось в голове Степана! Старик вспомнил все: что лишился сыновей в войну, что расстался с мечтой увидеть в своем доме внуков, что жить осталось немного, что месяцами не с кем словом обмолвиться, что с каждым годом все тяжелей вести хозяйство,— и еще многое вспомнилось и промелькнуло в сознании Степана в тот крохотный кусочек времени, пока он слушал Михаила.

— погоди. Не спеши... На что тебе Хийм-ярь? Всей радости-то — одно Онего, дак и то в трех верстах. Сядем-ко, так я тебе все по порядку расскажу! — и потащил Михаила к крыльцу ближайшего дома.

Сели. Закурили.

— Послушай,— начал Степан.— Дом мой знаешь — места много и простоит сто годов. Огород — хоть гектар паши: по старым картофельникам земля жирная. Сенокос рядом. Лес — под боком, промышляй сколько влезет. Озеро под окошком. Рыбное! Да ты знаешь Сарь-ярь, рыбачил. Сетей и мереж у меня на целую артель хватит. Все капроновые. Сам вязал. Невод есть. Корова хорошая — по два ведра молока в сутки дает. Мало будет, вторую заведем — на тебя. Лошадь в лесничестве дадут. Заживешь — тебе такая жизнь и не снилась! И ничего другого не ищи. Только на мое место!

— Все это ладно. Ты о главном скажи, о работе. Что делать-то надо?

— Лесниковая работа — лес охранять да в порядке его содержать. Чтобы пожаров не было. Чтобы самовольно не рубили, не воровали. Чтобы хламу разного не оставляли, сучьев и прочего. А рубить и воровать — некому. Сам себя блюди да за этими туристами доглядывай, чтобы костры где попадется не палили, и участок твой всегда будет благополучный. Ну, еще просеки расчищать надо — это уж само собой понятно, квартальные столбы обновлять. Потом опять же планы спускают — на семя хвойной породы, на

клюкву, на ивовое корье. По месяцу каждый год на посадках леса отрабатывать надо, иногда на нарезку делянок в другие лесничества отправят. Так это ведь все на пользу делу, и себе интерес...

— Хорошо, Степан Тимофеевич, я подумаю.

— Да чего думать-то?! — разочарованно воскликнул старик. — Служба государственная, почетная, людям нужная. И жить будешь, считай, дома: от нас до Лахты — два часа на лодке. А захочешь — мотор купим. Лошадь будет, дак долго ли по зимнику бензину привезти?

— Подумаю, — повторил Михаил. — Ты об этом батьке моему пока не говори. Я сам скажу.

— Во-во, скажи. И я знаю — он согласный будет.

— Я поговорю с ним сегодня же, и с утра, может, вместе с вами в Сарь-ярь сплаваю. Давно не бывал, а хочется взглянуть на ваши места. Озеро у вас красивое...

— Во молодец-то! — подскочил обрадованный старик. — Приедем — покажу, как живем, по лесу проведем, и тогда уж все обсудим честь честью!

30

Тихо угасал знойный августовский день. В вершинах высоких берез возле дома Маркеловых позолотилась листва, смолкли голоса птиц, и только чайки беспокойно гомонились на песчаной косе Янь-немь.

Накинув на плечи пиджак, Герман ходил по берегу. Снова и снова он вспоминал разговор с Катей, пытаясь разобраться и понять, в чем ошибся, что сказал не так, чем отпугнул ее от себя. Самое обидное заключалось в том, что он впервые до конца был искренен с девушкой, не изображал влюбленного, не притворялся, не лгал. Но эта искренность вдруг обернулась против него.

Нет, он не сожалел, что сказал Кате правду: обмануть ее он не мог и не сможет. Но почему она не поверила и что теперь думает? Почему здесь все не так, как было там, в городе, в кругу своих друзей?

Сначала Герману казалось, что вся жизнь в Лахте, все, с чем он здесь столкнулся, — не настоящее, призрачное, похожее на сон. Потом вдруг все перевернулось в сознании, как песочные часы, и он начал думать, что только здесь увидел настоящую человеческую жизнь, где все не выдуманно, как сама природа.

Герман представил Катю на тротуаре городской улицы. Обратил бы он на нее внимание? Несомненно, потому что привык всматриваться во всех красивых девочек. И он мгновенно определил бы, что Катя — из деревни, «провинциалка»: скованность движений, будто на нее смотрит весь город, необыкновенная серьезность лица. Он прошел бы мимо и через минуту уже не помнил о ней — разные ступени жизни! А Петр, тот вообще не привлек бы его внимания: много их ходит таких по городу, ничем не приметных...

Рассуждая так, Герман пришел к неожиданному для себя выводу: до сих пор он судил о людях, в частности о сверстниках, лишь по манерам и одежде. Тех, кто по манере вести себя и одеваться были похожи на него самого, он причислял к разряду «своих», все же остальные были «прочие», «не та ступень», «провинция» и его не интересовали. А в обществе «своих» он продолжал «совершенствоваться» — стремился быть еще более эффектным и модным. Там, в городе, он никогда не был самим собой — он «производил впечатление».

И вот теперь, когда жизнь столкнула его с этими «прочими», которые далеки от того, чтобы «производить впечатление», и проявляют себя такими, какие есть на самом деле, он вдруг почувствовал всю бессмысленность манерности собственного поведения. Даже небольшая фальшь, когда он находился в обществе Маркеловых или деда и бабушки, была ему противна. А в отношениях с Катей он вообще не мог допустить какую бы то ни было ложь или неискренность. Непосредственность этих людей, их образ жизни, казалось, обязывали и его раскрывать себя перед ними, быть таким, какой есть...

Герман возвратился домой, когда совсем смерклось. Отец ждал его на крыльце.

— Посидим? — предложил Василий Кирикович и

отодвинулся на край верхней ступеньки.— Вечер хороший. И комаров нет.

— Вечер-то хороший...— хмуро отозвался Герман.

— А что?

— Ничего... Ты почему обманул дедушку и бабушку? Почему не вышел к гостям? Ты же обещал!..

— Понимаешь, я прилег отдохнуть и уснул.

— Уснул!.. А они весь день только и оглядывались сюда, тебя ждали. В общем, ты сам перед ними оправдывайся!

— А что, разве они меня осуждали?

Герман молчал. Ему вдруг вспомнилось все: и тоскливый плач старушек, и скорбные лица деда и бабки, много-много лет проживших в одиночестве, и полные глубокого смысла слова старика Тимоя: «Забыл отца-мать — для роду потерянный...» Он сказал:

— Конечно, им не привыкать. Не зря все, кто здесь живет, считают дедушку и бабушку брошенными тобой, забытыми.

— Этого не может быть! — дрогнувшим голосом произнес Василий Кирикович, но тут вспомнил неприятный разговор со стариком Митрием на крыльце маркеловского дома.— Мы же всегда поддерживали со стариками связь...

— Какая связь?! Всего месяц назад ты говорил: у них коровка, кабанчик, десятка два кур, полный огород овощей, дед мешками ловит рыбу. А что оказалось?

— Кое в чем я действительно ошибся. За эти годы многое изменилось, и впредь мы им будем помогать больше. К тому же, как только мы приехали, я сразу же дал им денег.

— Да разве в деньгах дело? Старухи, которые плакали сегодня, тоже, наверно, получают от своих детей деньги, но все равно они брошены! Кто не брошен, те доживают свою жизнь с сыновьями и дочками.

— Не надо горячиться,— сдержанно сказал Василий Кирикович.— Сядь, поговорим спокойно. Ты слишком взвинчен... Если бы отец и мать сообщили мне, что им плохо живется, что они желали бы переехать к нам, я бы с радостью перевез их к себе. Но они никогда не жаловались, никогда не просили помощи!

Вообще для человека, всю жизнь прожившего в деревне, город тесен. Тебе, конечно, это трудно понять, но они привыкли к простору, к этому чистому воздуху, к зелени, к соседям...

— К заброшенности, обреченности!..— жестко бросил Герман и, круто повернувшись, ушел в сарай.

— Гера!..— воскликнул пораженный Василий Кирикович и хотел было идти за сыном, но вдруг понял, что продолжать разговор бессмысленно, и остался на крыльце.

Темнело. Трещали кузнечики. На озере сонно вскрикивала какая-то птица.

Скрестив на груди руки, Василий Кирикович задумчиво смотрел на подернутое белесым туманом озеро.

Дома, в городе, размолвки с сыном не были редкостью. Вспыльчивый Герман не заботился о форме выражения своих мыслей, дерзил и мог наговорить много обидных слов. Но те размолвки возникали на



иной почве: сын стремился к самоутверждению, отстаивал свою индивидуальность и право на самостоятельность, защищал взгляды и мораль своих друзей, доказывал жизненность новых мод и увлечений. Он шел в наступление только тогда, когда вопрос прямо или косвенно затрагивал его личные интересы. На этот же раз никакого покушения на его интересы не было.

Самое неприятное заключалось в том, что сын, видимо, не самостоятельно пришел к этим нелепым выводам и обобщениям. Скорей всего, он повторял чужие слова. Но как могли эти старики обвинить его, Василия Кириковича Тимошкина, нравственнейшего человека и примерного семьянина, в том, что он забыл своих отца и мать?! Какое чудовищное измышление! А что они понимают, что знают о его жизни? Вся она отдана службе, нелегкой работе, семье. Держать в своих руках снабжение целого треста — это не телят пасти. С утра до ночи в хлопотах и заботах. А еще заседания, совещания, планерки. И везде нужно успеть... А там — дети, жена. Дать им образование, обеспечить все условия для счастливой жизни тоже не так-то просто, не всем это удастся. Но ему удалось. Жена — кандидат наук, и дочь скоро защитит диссертацию. А квартира? Многим друзьям на зависть, и дача есть великолепная. И пусть отец и мать жили здесь, в деревне, а он — там, в далеком городе, все равно они как бы незримо постоянно были рядом, он помнил о них всегда. И вообще, разве можно судить о родственных чувствах по количеству писем или приездов в гости? Глупо...

До глубокой ночи сидел Василий Кирикович на крыльце отцовского дома, размышляя о своей жизни, о сыне, о стариках. И чем больше он думал, тем более утверждался в том, что годы, оставшиеся позади, прожиты правильно. Всегда пользовался уважением и на работе, и в кругу своих знакомых. Все было так, как надо, как должно быть. И если кто не понимает этого, ничего не поделаешь: не всем дано мыслить масштабно.

Чтобы никого не тревожить в этот тихий полуночный час, они сидели в кухне без света и разговаривали вполголоса.

— Работа, конечно, не тяжелая. И времени для охоты будет много,— говорил Иван.— Только, сдается мне, Мишка, не в ту сторону ты глядишь. Ведь ты на машинах работал, вот к ним и тянись. Ежели в Хийм-ярй неохота, поезжай в Саргу, в Сохту, в Чудрино...

— Меня, тато, эта земля зовет!..

— Верю. И по себе знаю.

— Остался бы я здесь пастухом, да не по мне такая работа, не люблю я ее. А помогать буду. И в сенокосе, и в пастьбе. В охотку с удовольствием помогу. Долго ли из Сарь-ярй сюда прискочить?

— Эх, Мишка, Мишка!..— вздохнул Иван.— Не о том думаешь.

— Не расстраивайся, тато! Я ведь еще ничего не решил. Вот съезжу в Сарь-ярй, погляжу, со Степаном поговорю...

— Съезди. Погляди. Только, прошу тебя, не очень поддавайся на Степанкины уговоры. Не его умом думай — своим. Ему с Натальей охота на месте век дожить, а тебе надо жизнь начинать. Разница большая.

Михаил вспомнил, что и Афанасий Прохоров, объясняя причину переселения, говорил примерно то же самое: старикам Ким-ярй годилось для спокойной старости, а нам, молодежи, вперед надо было глядеть. И сказал:

— Если не понравится, рассчитаюсь и уеду.

— Не выйдет, Мишка! Родимая земля, когда в душу-то врастет, страшную силу имеет.

Михаил подумал: а ведь отец по себе судит! Эту всесильную власть земли он уже испытал. На какое-то мгновение в себе самом он увидел своего отца и, кажется, понял его полнее и лучше, чем за все годы, прошедшие после переселения.

— Землю, которую человек еще дитем первый раз в жизни босыми ножонками щупает, забывать нельзя,— продолжал Иван после некоторого молчания.—

И почитать ее надо. А властвовать над человеком даже эта земля не должна. Ты над ней хозяином будь!

— Понимаю, тато!.. Но ведь лесник — тоже хозяин.

— Верно говоришь, хозяин... Меня, Мишка, другое тревожит. В твои годы самое время семью заводить. А с малыми ребятишками жить в лесу — трудное дело. По себе знаю. Сердце кровью обливалось, когда я тебя, семигодоваленького, в интернате оставил. Других легче было, а тебя, в первый-то раз, — тяжело. Потому и советую на центральной усадьбе устраиваться. Я бы на твоём месте уехал в Хийм-ярв, принял бы трактор, пахал бы вместе со всеми, сеял, урожай снимал. А в отпуск сюда приезжал бы, заветные места проведать. Захотелось бы здесь поработать — тоже можно. Каждую весну сюда приезжать надо — соль-лизунец привезти, удобрения на пастбища, травяное семя. А в начале зимы — опять же сено вывозить. Не всякий тракторист в такую даль с охотой едет. Так бы вот и стал жить. А семья появилась бы — в Хийм-ярв и ясли есть совхозные, и садик, и школа хорошая, ребятишки-то на своих глазах росли бы, дома жили бы...

— Надо подумать.

— Думай. Неволить тебя не хочу и не могу — сам взрослый. Как решишь, так и будет. А раз уж совета спросил, я тебе все сказал. В Сарь-ярв будешь, погляди, не надо ли Степанке по хозяйству чего пособить. Хоть и в силе они, а все ж таки старики. Домой не спеши — помощников и без тебя хватит. А теперь ложись спать: Степанко с Натальей рано поедут — корова у них недоеная...

32

Туйко визжал и метался на цепи: хозяин вышел из дому с ружьем на плече, но вместо того, чтобы подойти и расстегнуть ошейник, прикрикнул строго и направился к озеру.

— Возьми, пожалуй, кобелька-то! — посоветовал Степан. — Даром, что лодчонка маленька, да ведь и груз невелик. — Про себя же подумал: с собакой Мишка

скорей задержится на день-другой, не так будет обратно торопиться.

Лодка действительно была маленькая — осиновая долбленка, но с парой гребных весел.

— Кабы знал, что втроем плыть, — большую взял, новую, а то бы на средней приплыл. Тоже справная, хоть и старая. Зато эта уж больно на ходу легка!..

Михаил бросил в нос лодки куртку и окриком «Место!» послал на нее обалдевшего от радости пса. Туйко с подчеркнутым послушанием улегся, но продолжал молотить хвостом, выражая свое ликование и благодарность.

— Дорожки не будем спускать? — спросил Михаил.

— Не! — махнул рукой Степан. — Вали прямо. На Сарь-ярь спустим, чтобы рыба была самая свежая. — Он взялся за кормовое весло. — А ты, Наташка, сними-ко доску да садись прямо на дно, а то из-за твоей головы мне Мишкиного лица не видать... Да не бойся, подол не смочишь!..

Каких только тайных надежд не заронил Михаил в душу Степана своим вечерним разговором! Несбывшаяся мечта растить и оставить после себя молодую смену, которая бы продолжала земную жизнь в родном доме, вновь вспыхнула в сердце старика, когда, уже казалось, все кончено и закат одинокой старости неотвратим.

Почти до утра Степан не сомкнул глаз — все думал, чем увлечь Мишку, как развеять его сомнения, чтобы надежно залучить парня на постоянное жительство в Сарь-ярь, в свой дом. Он чувствовал, что Михаил колеблется, и не знал, что посоветовал ему отец, но решил пока ничего не спрашивать — лодка неподходящее место для такого разговора. Он и Наталью строго-настрого предупредил: «О Мишкиной работе — ни слова, а то на радостях ляпнешь что-либо не к месту и все дело испортишь!» Сам же до тонкостей продумал, что и как говорить и делать в пути до Сарь-яря, чтобы в наилучшем свете представилась Михаилу его будущая жизнь.

Теперь что бы ни говорил Степан, он во все вкладывал особый скрытый смысл, который, исподволь

проникая в сознание Михаила, должен был постепенно складываться в это представление о будущем. Старик уже не стал откровенно хвастать, что у него три лодки, но Михаил тем не менее должен был понять, какие это лодки; и о дорожках он сказал так, что само собой стало ясно, насколько богато рыбой Сарь-ярь...

Михаил, с детства привыкший к гребле, гнал лодку уверенно и быстро. Легкие, великолепно подогнанные весла играли в его мускулистых руках, вода пела под днищем долбленки.

— К этой бы лодочке да мотор приспособить! — мечтательно сказал он.

Степан усмехнулся:

— И без мотору добро стелет. Под мотор килевую надо, побольше... Сделать недолго, доски и смола есть. А которую прошлой зимой делал, я Иванке отдам. Ты и пригонишь ее. Все же Ким-ярь просторнее, здесь волны высокие бывают, лодка нужна надежная... — Старик помолчал. — Оно, конечно, и Сарь-ярь не маленькое, да только у нас, вишь ли, мысов да островин много. Одна Бабыя Нога чуть не на версту в озеро утонулась. Волне-то и негде разгуляться. И на случай непогоды ловко — с любого места до бережка либо острова рукой подать!

— А здесь-то эвон какая дальина до берегов! — сказала Наталья. — Не дай, господи, в непогодушку на середке оказаться!

Степан согласно кивнул: к месту сказано!

Заозерный берег приближался. Из синевато-серого он постепенно становился зеленым, поднимался все выше и выше, лишь в одном месте окраска его оставалась дымчато-синей: там Питык-ярь — Долгое озеро. Глубокой узкой протокой тянется оно через сузье километров на восемь, соединяя собою Ким-ярь и Сарь-ярь.

Когда горловина Питык-ярь обозначилась очень четко, а на сближающихся кимьярских берегах стали хорошо видны стволы деревьев, Михаил заметно сбавил скорость. Степан понимающе кивнул, а Наталья перекрестилась: лодка пересекала Черную яму — по древним преданиям, обиталище кимьярского водяника.

При средней глубине озера в три сажени теперь под лодкой было тридцать шесть сажен. Здесь, по рыбацкому обычаю, нельзя не только быстро плавать, но и громко разговаривать, а лучше — молчать. И уж вовсе недопустимо плюнуть в воду или бросить за борт окурков.

Раньше в народе ходило немало рассказов о том, как легкомысленные смельчаки, желая опровергнуть легенды о суровом Черном водянике, пытались совершать здесь разные, оскверняющие честь «хозяина» непотребные действия. И конец этих затей всегда бывал одинаково трагичен: лодка оставалась плавать, а осквернитель камнем шел ко дну... Терпящих бедствие в Черной яме еще никому и никогда не удавалось спасти.

А в Сарь-ярь, в месте слияния его с Долгим озером, была Белая яма глубиною в тридцать сажен. Белый водяник отличался от Черного болѐе мягким нравом. Он редко топил людей, но шутить над ними любил: то лодку начнет крутить — до того докрутит, что бедный рыбак без чувств падает, то невод плетью совет, то в самый неподходящий момент, особенно когда молодые к венцу плавали, начинает воздух портить — пузыри с решето поднимаются со дна! И так смрадно делается, что невеста под фатой нос украдкой зажимает... Однако считалось в народе, что ежели таким способом Белый водяник молодых к венцу проводил, жить им в согласии и счастье...

Много легенд было сложено о водяниках, и многое еще помнил Степан. Да и не только Степан, но и Михаил, потому что эти легенды тесно вплетались в рыбацкую жизнь людей. Испокон веку всем было известно, что Черный и Белый водяники часто гостили друг у друга. Пока гостеванье шло по-доброму, на озерах была благодать: ни волн, ни горюшка в прибрежных деревнях и рыба сама лезла в снасти. Но ежели водяники вздорили, то на озере, где это случалось, ни с того ни с сего поднимались волны, вода становилась мутной, сети забивало тиной, и люди боялись плавать в лодках.

Любили водяники и в картишки порезаться. Обычно играли на рыбу, которую перегоняли по Питьк-ярь

из озера в озеро, смотря по тому, кто выигрывал, а кто проигрывал. Стоило рыбакам спустить сети в Питьк-ярь, и сразу было видно, как идет эта игра. Если рыба попадала со стороны Ким-ярь, значит, Белый водяник в выигрыше, если со стороны Сарь-ярь — в проигрыше.

На веку не раз бывало и такое, что Черный водяник выигрывал у своего соседа всю рыбу. Тогда легкомысленный Белый водяник ставил на карту воду. Сарьярский люд с ужасом замечал, как в Питьк-ярь возникало течение и вода из Сарь-ярь начинала уходить. Но потом, видать, и Черный водяник делал промашку. Течение останавливалось, а то и поворачивало вспять. И вместе с водой возвращалась рыба.

«Отыгрался!..» — облегченно вздыхали рыбаки.

На памяти Степана был, однако, случай, когда сарьярский водяник проиграл всю воду, и осталась она только в Белой яме, которая предстала глазам людей круглым озерком с очень крутыми берегами. По дну Сарь-ярь, ровному, как блин, люди ходили и ездили на лошадях, а несколько мужиков даже сбились в артель и распахали десятины четыре. Овес вымахал — в пояс. Но убрать его не успели: в конце лета вода в Черной яме вдруг забурлила и хлынула из глуби с такой неудержимой силой, что пересохшее Питьк-ярь в одночасье превратилось в широкую мутную реку, которая на глазах стала заливать Сарь-ярь. Так овес и ушел под воду...

Вообще Черный водяник был, конечно, сильнее Белого и в картах смыслил больше, потому что ни разу не случилось, чтобы Ким-ярь осталось без воды...

Все эти были и легенды вспомнились Степану, пока лодка медленно пересекала Черную яму.

— Не ставил, дедо, сетки в Долгом озере? — спросил Михаил.

— Ставил.

— Откуда рыба идет?

Рыба шла из Сарь-ярь. Но Степан ответил:

— С обеих сторон ровно попадает... А ты бы откуда хотел?

— С вашей стороны. Поглядеть интересно, как вода уходить будет.

Наталья обернулась к мужу, сказала:

— А вспомни-ко, у Белой-то ямы рыба все лето лучше ловилась.

— И то правда,— согласился Степан.— Того и гляди, в Питьк-ярь двинет. Значит, и вода сюда пойдет.

По высоким каменистым берегам Долгого озера сочно зажелтели прямоствольные сосняки. Запахло смолой. Туйко встрепенулся, заводил носом.

— Теперь на бережок его можно выпустить,— сказал Степан, а сам подумал: хоть бы мошника кобелишка обляял, для интересу!..

— Иди! — Михаил махнул рукой, и Туйко прыгнул в воду.— А что, эти сосняки в глубину далеко идут?

— Здесь полосой тянутся, нешироко, а за ручьем Рист-оя направо — версты на три — Беломошная грива, налево — на полторы — Глухарина грива. Тока — по полсотни мошников. По осени на берег, на камушки вылетать будут. Стреляй с лодки сколь надо — непуганные.

Туйко выплыл на берег, отряхнулся и галопом скрылся в лесу.

Вдоль Питьк-ярь низко над водой сновали поднявшиеся на крыло одноцветно-серые чирки и белобрюхие гоголи. Заметив, что Михаил следит глазами за полетом птиц, Степан сказал:

— Зверем и птицей наши места богаты. Леса, сколь знаю, веками не рублены, рек-то нету, чтобы сплавлять...

— Здесь бы заповедник открыть,— высказал свою мечту Михаил.— Ученые бы приехали, узнали, куда наша вода через Черную яму уходит, татарского хана на Муна-мяги раскопали бы.

— Когда-нибудь раскопают. А про воду я и без ученых скажу: в подземную реку она идет. А река та — в Онего. Мой дед еще сказывал, заделали старики щуке в жабрину серебряное кольцо и пустили ту щуку в Черную яму, когда вода падала. Дак щучина та через два али три года на Онеге в невод попала...

Далеко впереди приглушенно и редко залаял Туйко. Михаил перестал грести, прислушался.

— По лосю!.. — выдохнул он и налег на весла.

Степан приложил ладонь к уху.



— Похоже, у Рист-оя звонит! Там, у ручья, лоси держатся.

Подгребая кормовым веслом, Степан стал прижимать лодку к берегу: если лоси на ручье Рист-оя, то под прикрытием мыска, который выдается в Питкьярь перед устьем, удастся подплыть к ним вплотную.

«Господи! Неужто Мишка палить будет?» — встревожилась Наталья.

Собака звенела совсем близко. Михаил греб, повернув голову и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за мелькающими на берегу деревьями с густым подсадом ивняка. Но ничего не видел. От напряжения ныла шея.

Лодка, шелестя рассекаемой водой, вынеслась из-за мысочка.

Вот они!.. Весла повисли в воздухе, дыхание прервалось. Бык и лосиха с необыкновенно длинной серьгой, свисающей до самой воды, стояли в ручье. Туйко — мудёр, старик! — занял позицию за ручьем, со стороны леса, на себя отвлекая внимание зверей.

Медленно, с величавой ленцой, лосиха повернула голову на шелест воды под днищем долбленки, и в ее больших темных глазах Михаил увидел не страх — удивление. Туйко стал напирать. Бык — крупный, но по рогам-вилашкам молодой — не выдержал и выскочил на берег ручья. Туйко молчком, на махах, рванулся наперез.

По крупу лосихи, как от озноба, волной прошла дрожь. Она вскинула голову, раздула широкие ноздри и плавной рысью двинулась к озеру в обгон лодки.

— Куда тебя лесовики гонят?! — испуганно закричал Степан.

Лосиха не оглянулась, не прибавила шагу и не изменила направления. Высоко взбрасывая стройные ноги, она грациозно входила в воду с явным намерением переплыть Питкьярь впереди лодки. На какое-то мгновение Михаилу показалось, что долбленка, быстро скользящая по инерции, неизбежно ткнется в бурый бок зверя.

Но расчет лосихи был точен. Она погрузилась в воду метрах в пяти перед долбленкой и поплыла, наострив большие уши и приподняв горбоносую морду, будто вглядывалась в противоположный берег. Было

хорошо слышно ее глубокое, утробное дыхание... Степан смахнул со лба капельки пота.

А на берегу разрывался Туйко. Бык метался то в лес, то к озеру, но плыть за лосихой не рисковал, пугаясь лодки. Наконец он повернул обратно к ручью, в два прыжка пересек его и размашистой рысью побежал берегом Питък-ярь у самой воды. Сбоку, от леса, стелющимся галопом и по-волчьи без голоса мчал Туйко. Некоторое время собака и зверь бежали бок о бок, но, едва кобель вырвался вперед, бык круто развернулся и, расплескивая и буровя воду широкими копытами, ринулся в озеро. Туйко — за ним.

— Брось!.. Нельзя!.. — опомнившись, крикнул Михаил.

Пес беспомощно заюлил на месте и, скуля, смотрел то на уплывающего быка, то на хозяина.

— Нельзя! — повторил Михаил, и Туйко покорно повернул к берегу.

33

В Сарь-ярь выплыли на восходе солнца. В уважительном молчании, отдавая дань традиции, пересекли Белую яму.

Ни ветра, ни тумана не было, и озеро от берега до берега сияло зеркальной гладью.

Степан не спешил к дому: часом раньше, часом позже будет подоена корова — беда невелика, куда важнее озеро Мишке показать, показать не как-нибудь, а с толком, чтобы поглянулось оно парню и в душу запало! И он вел лодку по отлогой дуге чуть ли не вокруг озера, мимо островов, которые свежо зеленели в этот ранний час.

Наверно, потому, что на Ким-ярь не было ни одного острова, Михаил с детства питал слабость и трепетное влечение к таким вот оторванным от материковой суши клочкам земли. И сколько раз на лесных озерах он сколачивал плоты лишь только для того, чтобы ступить на окруженный водою кусочек земной тверди, ощутить под ногами его неколебимую прочность и с

чувством первооткрывателя обойти и все разглядеть! Он отыскивал на островке таинственно-тихий заливчик, затонувшее дерево с выбеленными временем корявыми сучьями, осторожно забрасывал удочку между глянцевыми листьями кубышки и вожделенно ждал поклевки. И в такие минуты ему всегда казалось, что до него еще никто и никогда в этом месте не ловил рыбу, и оттого испытывал особенное волнение в ожидании чего-то необычного.

Как много он отдал бы за то, чтобы хоть один сарьярский островок, пусть самый крохотный и неказистый, по какому-то волшебству переместился в Ким-ярь! В детстве он даже обижался на Черного водяника, который в выигрыш брал рыбу и воду. В Ким-ярь и без того воды и рыбы предостаточно! А что бы островок требовать?..

С жадным блеском в глазах Михаил смотрел на острова. Большие и маленькие, все они заросли лесом. И он знал, что там есть и тихие бухточки, и старые гнезда гагар и чаек; наверное, и черника растет, и княженика краснеет в траве на кочках...

А меж островов, чуть ли не надвое раскалывая озеро и красуясь мачтовыми соснами, дремал в позолоте утреннего солнца мыс Бабья Нога — Акан Йёуган-немь.

— Интересное название — Бабья Нога,— задумчиво сказал Михаил.

— Правду говоришь, интересное,— отозвался Степан.— Старинное оно, это название. Люди в ту пору еще в землянках жили, домов не умели строить. И вот родился, сказывали старики, у здешнего вождя сын. Смалу был парнишка парнишкой, а как вырос — все диву дались: этакой красавец! Высокий, черноглазый, кудрявый и силы необыкновенной. Прозвали его Пильви¹. А у брата вождя выросла дочь-красавица. До того ли пригожа, что парни глаза отворачивали — ослепнуть боялись. За то имя ей дали Пейве².

И надо же было случиться, что Пильви и Пейве полюбили друг друга. А Пильви отчаянный был. При-

¹ Туча (вепсск.).

² Солнце (вепсск.).

шел он к отцу и говорит: «Я хочу жениться на Пейве!» — «Ты разве не знаешь, что она — твоя двоюродная сестра?» — спросил отец. «Знаю,— отвечает Пильви.— Только другой подходящей для меня невесты нет на всем белом свете!» Рассердился отец. «Ты и свету еще не видел,— сказал он.— Сначала обойди его и пощи. Найдешь невесту — возвращайся, а нет — лучше погибни в чужих краях». Три года пропадал Пильви, но вернулся с невестой. Он завоевал ее в далекой северной стране на берегу холодного моря. Была она лопарка. Никогда раньше и никогда после того люди не видали такой красавицы. И была она тихая и застенчивая, и ею можно было любоваться сколько хочешь. Назвали ее за это Тяхтхэйне¹. Справили они свадьбу, построили земляночку и стали жить-поживать. А Пейве все оставалась незамужней — всех женихов недостойными считала.

И вот раз отец Пильви заметил, что сын и Пейве слишком уж ласково переглянулись и что-то шепнули друг дружке. Тогда он велел своему брату переселиться за озеро, чтобы Пейве не смущала женатого Пильви. Только не помогло это. Через надежного дружка Пильви и Пейве сговорились встречаться темными осенними ночами на середине озера.

Сплавал Пильви в лодке к своей любушке раз, сплавал другой, и Тяхтхэйне догадалась об этом. Когда муж и на третью ночь вышел из землянки, она быстренько сбежала на бережок и спряталась в лодке под рогожку, которой рыбу закрывают. Ничего не заметил Пильви и поплыл. Когда лодки встретились, он сказал: «Я не мог приплыть раньше, потому что моя жаба до полуночи не спала!»

Услышала те слова Тяхтхэйне и скинула с себя рогожку. «Больше вы никогда не увидите друг друга!» — крикнула она и бросилась в воду. Озеро забурило, закипело, лодки расплылись в разные стороны, и между ними поднялась земля, а Пильви и Пейве ослепли. С той поры на вечные времена остался на озере этот мыс, который люди прозвали Бабьей Ногой... Вот так, Мишка, было!..

¹ Звездочка (*венск.*).

— Интересная легенда. Грустная... — И, помолчав, сказал: — Ты, наверно, много знаешь таких историй?

— Раньше-то много знал, — вздохнул Степан, — теперь забываться стали...

Он смотрел на береговые холмы, озаренные солнцем, на голубые распадки меж ними, на белую церковь, устремленную в небо высокой колокольной, и почувствовал, как бесконечно, до душевного трепета любит он свое озеро вот в такие тихие утренние часы, когда далеко видно вокруг и когда наплывают в памяти старинные предания и хочется их рассказывать, чтобы кто-то слушал его и понимал эту любовь. Но он ничего не сказал, а только спросил:

— Дорожку-то будем спускать?

— Конечно! — восторженно воскликнул Михаил.

Не случайно Степан вспомнил о дорожке: лодка приближалась к Глубокой луде — самому надежному месту, где по утрам всегда хорошо берет крупный окунь. И блесну он спустил самую уловистую — из красной меди. Осечки быть не должно.

— Ты что, с одной дорожкой и едешь? — удивился Михаил.

— И одной хватит! — махнул рукой Степан.

Еще не успела полностью распуститься леса, старик начал выбирать ее из воды. На недоуменный взгляд Михаила ответил:

— Фунтик.

— Что?

— Окушок на фунтик, — и через минуту ловко выбросил к ногам красноперого окуня.

Не проплыли они и сотню метров, как Степан снова бесцветно обронил:

— Полтора фунта.

Михаил от удивления раскрыл рот.

Второй окунь в самом деле оказался заметно больше. Освободив блесну из пасти этого лаптя, Степан сказал:

— Может, хватит? Уха добрая будет! Ведь и домой пора.

— Спускай! До берега с дорожкой поплывем.

— Гостя воля... — Старик распустил снасть и направил лодку к деревне.

Чтобы леса не мешала править веслом, Степан зажал ее в зубах, а вертушку на всякий случай придал ногой. Но он знал, что на пути к дому уже нет такого надежного места. Это тревожило: плохо, если не будет поклевки!

«Озёрушко родимое, не подкачай, не дай осрамиться!.. — мысленно молил старик. — Пошли хоть какую ни на есть рыбешку! Лишнего никогда не прошу, а теперь — надо, очень надо!..»

Где-то близко затрубили журавли. Мощные серебряно-гортанные звуки врезались в тишину утра властно и торжественно. Так врывался в комнату общезнания бой московских курантов в шесть утра, когда динамик оказывался включенным на полную громкость. Михаил улыбнулся.

— На Бабьей Ноге трубят, — уточнил Степан. — Каждое утро так, когда погода хорошая.

Крик журавлей поднимался все выше, ширился, растекался над озером, плескался об острова и берега, и многократное эхо вторило ему в какой-то удивительно стройной последовательности.

В иные утра в радостно величавый крик журавлей вплетали свой тоскливый плач гагары. Тогда музыка утреннего гимна обретала зловещую окраску. Степан очень боялся, как бы и теперь гагары не испортили песню, и облегченно вздохнул, когда в воздухе растаял последний звук журавлиных криков: слава богу, пока вся природа действует с ним заодно! Еще бы рыбешку, и тогда можно благодарить судьбу...

Рывок был резок и упруг. Леса выскользнула из ненадежных стариковских зубов, но быстрые пальцы бывалого рыбака на лету подхватили ее.

— Есть? — вздрогнул Михаил.

Захолонуло на миг и вдруг забилось, затрепетало сердце Степана.

— Погоди... Полегче гребь, полегче!.. — Двадцатисаженная капроновая леса не подавалась и пружинила, но это не зацеп! — Дай назад, — очень тихо, одними губами, сказал старик.

Михаил резко затормозил.

— Ладно. Держи так...

А в голове вереница мыслей: леса выдержит, но

якорек слабоват, лодка перегружена, плыть к берегу — проволоку перемелет, с блесной уйдет, подвести к лодке и — веслом? Сумеет ли Мишка?..

Рука приняла серию резких толчков. Выплевывает! Степан ту же натянул лесу, зримо представляя, как щука открывает пасть и встряхивает головой, чтобы освободиться от крючка. Он стал медленно выбирать дорожку.

— Зацеп? — нетерпеливо спросил Михаил.

— Щука. Двадцать пять фунтов.

— Шутишь?!

— Ну, может, двадцать четыре.

Михаил ошалело уставился на старика, а Наталья с беспокойством закрутила головой: она-то знала, как редко ошибается Степан.

— Может, на Бабыю Нogu тащить? — неуверенно предложила она. — Туда, кажись, ближе всего.

Степан молчал. Пядь за пядью он вытягивал из воды тугую лесу. Он готов был в любой миг отдать ее обратно, если щука рванет в сторону, но отдать ровно столько, сколько нужно, чтобы леса не ослабла и натяжение ее оставалось неизменным.

Но щука шла ровно и в глуби — топляком. Если она не отвернет и до самой лодки пойдет так, ее вряд ли удастся взять: рывок под лодку в таких случаях бывает настолько внезапным, что смягчить его и в то же время не дать слабины оказывается почти невозможным.

— Приходилось на воде рыбу веслом колотить? — спросил Степан.

— Нет. А что, неужели вправду большая? — все еще не верил Михаил.

Старик не ответил. Его чуткие и цепкие пальцы продолжали свое дело. И они, эти пальцы, вдруг ощутили, что леса стала пружинить сильнее. Значит, щука пошла на круг? Дай-ко, господи!.. Леса чуть заметно поползла вправо. Наталья, загнипнотизированно следившая за нею, тоже увидела это легкое перемещение.

— Похоже, на круг? — прошептала она.

Степан кивнул.

Только тут Михаил заметил, что лодка медленно разворачивается кормой вперед. Кровь ударила в лицо:

значит, рыба действительно очень крупная! Но как взять ее в этот верткий челнок, чем помочь старику?

— Убери весла. На дно,— тихо подсказал Степан, будто уловил мысль Михаила, а сам все так же напряженно смотрел на полупрозрачную струну лесы.

Весла были убраны, а лодка продолжала вращение. Ощущать его было чуть жутковато — оно казалось каким-то противоестественным.

— Устанет скоро. Экую прорву воды жилкой режет! Наверх должна выйти.

— Много ль еще лески-то? — спросила Наталья.

— Десять сажен... Кверху пошла, кверху!..

Угол между поверхностью воды и лесой становился все острее и острее. И тут Степана осенило. Он быстро взглянул на Михаила и коротко распорядился:

— Изготовь ружье. Глухариной дробью. Посередке. Чтобы леску не зацепить.

Ружье лежало в ногах незаряженным. Дрожащей рукой Михаил вытащил из кармана два патрона с нулевкой. Щелкнул замок. В носу лодки вскочил Туйко. Долбленка закачалась.

— Уйми собаку.

— Место!

Пес покорно лег и недоуменно смотрел то на хозяина, то туда, куда был устремлен взгляд Михаила.

Что-то тонким перышком прочертило воду метрах в пятнадцати от лодки. И исчезло.

— Стреляй, когда вся наверх выйдет. Не торопись.

Чуть левей того места, где прочертило перышком, возникло едва уловимое, но все нарастающее движение воды. Оно быстро превращалось в небольшую округлую волну, которая росла, изгибалась дугой вперед, пока не приобрела форму клина; между разводьями этого клина вода текуче вращалась и бурлила, будто из глубины забил мощный ключ. На поверхности показалось что-то плоское и черное, но сразу скрылось. Потом снова вынырнуло и опять беззвучно погрузилось в воду.

Михаила била нервная дрожь. Надо бы поднять ружье к плечу, чтобы в любой миг выстрелить по тому черному, что покажется на воде. Но он знал, что это движение ружьем разгорячит собаку, лодка опять за-

качается с борта на борт и взять верный прицел будет очень трудно.

Щука всплыла неожиданно и не головой, как предполагал Михаил, а всем туловищем одновременно.

— Не мешкай, уйдет! — сказал Степан, зная, что сейчас последует страшный рывок в глубину.

Но прежде, чем Михаил принял и осознал предупреждение старика, он сам понял, что за подъемом будет немедленное погружение, и быстро, как по внезапно налетевшей птице, выстрелил в середину черной полоски. Одновременно с выстрелом в воду метнулся Туйко...

Изба Степана — опушенная¹, с большими окнами — стояла как новенькая. Перед фасадом в густых черемухах белели скворечни.

— Сам, что ли, делал? — удивился Михаил.

— А как же! По весне вышел раз на улицу, а скворчки так заливаются да чивыркают!.. Вот и сколотил. Четыре штуки... А чего же? Безобидная птица, веселая, к человеку привычная... А мне невеликий труд... Во всех домиках жили. То-то гаму было! Теперь-то уж разлетелися...

Степан жил крепко, с крестьянским размахом, во всем чувствовалась рука хозяина — умелая и неленивая. Усадьба обнесена еловым частоколом, возле дома — глубокий погреб с ледником, колодец — с плотной крышкой и нескрипучим, нерасшатанным воротом; за сараем зароды², покрытые пластинами еловой коры, под такими же пластинами поленицы пиленных и колотых дров; половина сарая, дальняя от избы, до крыши набита сеном, а в ближней половине на гладких жердях — рыболовные снасти, тут же у окошка — большой верстак и полный набор столярного и слесарного инструмента.

Степан водил Михаила по усадьбе и попутно рассказывал, каким нелегким трудом все это накапливалось и создавалось.

¹ То есть обшитая тесом. (Прим. автора.)

² З а р о д — продолговатый четырехугольный стог сена. (Прим. автора.)

— С умом живешь. И богато,— сказал Михаил. Он видел, что даже в отличие от отцовского дома, который он считал чуть ли не образцовым для крестьянской семьи, на усадьбе Степана не было абсолютно ничего, что могло бы вызвать сомнение в своей полезности и необходимости для жизни.

— Когда переселяться-то стали,— рассказывал Степан,— к нам с Наташкой зять с младшей дочкой из Мариуполя — хлоп! Из такой-то дали приехали. Не оставим одних, и все тут! Старшая дочка из Сыктывкара телеграмму шлет — ждите, едем. Мы со старухой ответ отбиваем: в гости — приезжайте, рады будем, а за нами — с места не тряхнемся. А сам подумай, куда нам ехать в этот Мариуполь или Сыктывкар? Зачем? Я же к делу определился! А дом справный, здоровье — слава богу, чего не жить? Ну, а как вдвоем-то со старухой остались, тут, брат, на печке лежать некогда. Умом смекай — руками делай, раз уж сам себе и царь, и бог, и работник... Так вот и живем помаленьку с Натальей.

Возле дома взапуски, наскакивая друг на друга, кувыркаясь и восторженно взлаивая, забыв обо всем на свете, даже о своих хозяевах, носились Туйко и рыженькая лайка Кагачевых — Сайма.

— И собакам-то вместе любо — а что уж о людях говорить? — вздохнул Степан.— И вот когда ты сказал мне, что вольный, что думушка у тебя есть в родном краю остаться — поверишь ли, Мишка, душа запела! Ты нам с Наташкой на десять годов силы прибавил. Опора на дочек и зятевей — хорошо, жить пособляет, да только охота ли ехать под конец жизни с родных мест? А останешься здесь — тогда уж вся наша опора на тебя. Дом, хозяйство, все, что есть у нас,— твое. Живи. Женишься — ребятишек, как своих внуков, пестовать будем. Это, Мишка, одно дело. Другое — охота мне родимый наш лес в надежные руки передать. Ведь цены ему нету, нашему лесу! Придет время, люди спасибо нам скажут, что сберегли мы для них такое богатство. И я в свой час со спокойной душенькой помру, потому как знать буду — ты мою заботушку на себя принял и дело мое справно на земле продолжать будешь...

— Понимаю тебя. Но вот скажи: буду я лесником, семью заведу, приживусь здесь. А дальше-то что?

— Дальше? — Степан соображал, как ответить. — Трудно загадывать. Может, то будет, что со мной стало. Разлетятся твои ребята по свету, а ты здесь останешься доживать срок, который судьбой тебе отпущен. Но, сдастся мне, по-другому пойдет твоя жизнь. Не верю я, чтобы наш край пустым остался. Земля хоть и никудышная, зато леса и озера наши очень сгодятся людям. Попомни меня, придут сюда люди. И машины здесь будут, и дороги, и электричество. Мы с Наташкой, может, и не доживем до той поры, а ты, чую, в самую струю той новой жизни угодишь.

На крыльце появилась Наталья, румяная, улыбающаяся.

— Степанко! Ты гостя-то совсем голодом заморишь. Подите в избу. Завтрак на столе, — и гостеприимно распахнула дверь в избу.

34

К болоту, на котором росла морошка, Петр вел по хорошо приметной тропе. Тянулась эта тропа по борам, лишь кое-где на короткое время сбегая в сырые распадки, поросшие замшелыми старыми березами, и идти по ней было легко и приятно. Колька и Люська шныряли по лесу — искали грибы, загадывали, кто первым найдет боровик или груздь, громко кричали, заодно хвалились друг перед другом находками.

— Катька, а ты чего не ищешь? — крикнул Колька старшей сестре.

— Я думаю, ты и на мою долю собираешь, — отшутилась Катя. Она шла задумчивая, рассеянно прислушиваясь к голосам позади себя. Точнее, она слышала только голос Петра, который рассказывал какую-то древнюю легенду о первых жителях Ким-ярь.

По тому, как увлеченно рассказывал брат, она предполагала, что Герман слушает с интересом, и это немножко задевало ее: самой ей было не до легенды, а Германа, видно, не очень огорчила вчерашняя размол-

вка — поздоровался как ни в чем не бывало, а теперь слушает сказку.

В действительности же старинная легенда ничуть не трогала Германа, и он почти не слышал ее. Он думал о том, что сказать Кате, как завести разговор, если представится удобный случай. Было бы проще, если бы он в чем-то провинился перед нею. Но он не находил за собой никакой вины. Дружил с Розалией? Но разве это была дружба? К тому же и Катя, наверно, тоже с кем-то дружила. Да и мало ли что было раньше! Важно не прошлое — настоящее....

Перед болотом Колька и Люська вышли на тропу. Грибов они собрали на удивление много — по полному полиэтиленовому мешочку. Чтобы не таскать их с собой, они оставили эти мешочки на дорожке, а сами наперегонки побежали к болоту.

Это было очень большое болото. Оно простиралось далеко, до синеющего горизонта, но, как говорил Михаил, морошка росла только вокруг маленького озера, мимо которого и тянулась эта тропа.

Может быть, потому, что с трех сторон здесь высокой стеной поднимался лес и уголок этот был надежно защищен от холодных северных ветров, морошки здесь было в самом деле изобилие. Ничего похожего Герман еще никогда не видал в жизни. Крупные сочные ягоды янтарной россыпью желтели на кочках под низенькими корявыми сосенками. Герман сразу же попробовал их на вкус и был разочарован — морошка оказалась скорей кисловатой, чем сладкой. Она действительно была ароматна, но с чем ее сравнить, Герман даже не мог придумать.

Петр, конечно, первым долгом разделся, чтобы поплавать в озере, а Колька, Люська и Катя с ходу принялись собирать ягоды: так у них было заведено — сначала наполнить туески, отложить их на приметном месте, а потом уж лакомиться ягодами сколько хочется. Герман же вдруг обнаружил, что не взял с собой никакой посуды, и почувствовал себя столь же нелепо, как рыбак, позабывший снасти дома. Взгляд его остановился на берестяном Катином туеске — туесок ёмкий, литров на десять, не меньше, — и счастливая мысль пришла Герману в голову. Он набрал горсть самых крупных

ягод, подошел к Кате и молча высыпал морошку в ее берестяное ведро.

— Разве у тебя ничего нет? — Катя подняла на Германа глаза.

— Представь себе — ничего. Я буду тебе помогать.

— Ну зачем же! — Она сунула руку в карман платья и вытащила полиэтиленовый мешочек. — Возьми.

— Катя, ты меня... извини, — чуть слышно сказал он.

— За что?

— Не знаю... Что вчера так случилось.

— Глупости! — Она улыбнулась. — Это у меня такой дрянной характер. Ни в чем не разобралась и...

— Значит, не обижаешься?

— Нет. И не надо об этом... Мешочек-то возьмешь?

— Я лучше тебе буду помогать, — пробормотал повеселевший Герман.

— Вот смешной! Наберешь себе, а потом и помогай.

Он взял ее за руку, спросил:

— Ты вечером свободна?

— Сегодня у меня стирка.

— А завтра?

— Завтра я поеду в Саргу.

— Ну уж не знаю! — вздохнул Герман. — То сенокос, то стирка... Ты просто не желаешь со мной встречаться, да?

Катя смущенно потупилась.

— Если я не поздно освобожусь... В общем, я постараюсь освободиться пораньше. Ты приходи к березам. Ладно? Я увижу тебя и выйду.

— Катька! Чего стоишь? Собирай! — издали крикнул Колька.

Герман торопливо отдернул руку. Катя засмеялась.

— Видишь, я из-за тебя замечание от бригадира получила!

— Вот ты не веришь мне, но ты и сама не знаешь, какая ты хорошая!

— Хватит! — Катя положила полиэтиленовый мешочек на кочку и отошла.

Морошку она брала с самозабвенной тихой радостью, брала красиво и ловко. Быстро мелькали ее заго-

релые руки, белело платье с треугольничком сиреновой косынки на плечах, толстая каштановая коса свисала до земли и плавно колыхалась. Эта коса, путаясь под руками, очень мешала, но лишь сама Катя знала, почему не уложила ее кольцами на голове и не спрятала под косынку. Она чувствовала на себе взгляд Германа, и ей было хорошо оттого, что размолвка, собственно даже и не размолвка, а неожиданное отдаление, уже в прошлом.

35

Видел ли Митрий Маркелов, что Василий Кирикович спустился на берег, а Акулина с лопатой в руках отправилась на задворки или так совпало, но он появился на пороге дома Тимошкиных в тот момент, когда Кирик Савельевич одиноко сидел в переднем углу.

— Молодяжки — за морошкой, а нам догуливать надо! — весело сказал Митрий и вытащил из кармана четвертинку.

— Какое догуливать? Ничего неохота...

— Хозяйка-то у тебя где?

— Червяков пошла копать. Василий поудить хочет... — Старик тяжело вздохнул. — Тоскливо у меня, Софронович, на душе, ох как тоскливо!..

— Понимаю, Савельевич, понимаю!.. — Митрий сам взял из шкафа стаканы да початый рыбник, сел. — Давай-ко лучше посидим да потолкуем в спокойе. Али голова болит?

— Что голова... Душа не на месте. Внук — ведь отродясь нас не видывал, вырос в городе! — и тот нет-нет да поговорит с нами, спрашивает чего, по домашности пособить старается. Как приехал, бабка ведра воды в избу не принесла — все он. Дверку в огород ходить сделал, сетки пособил починить — своя рыба в доме завелась! А Василий будто и не мужик...

— Не умеешь ты с ним говорить. Не хватает ума топор взять, дак ты ему сам дай, топор-то. Дай и скажи: хватит, погулял, пора и честь знать!

Савельевич безнадежно махнул рукой.

— Какой топор?.. Отвык он от деревенских дел, и руки-то у него теперь не мужицкие. Отдыхает — ну и бог с ним, на здоровье! Мы уж от него никакой работы и не ждем, понимаем. Дак он хоть бы поговорил с нами! Как жили, как жить будем? Посоветовался бы, и то бы на душе веселее стало... А вчера что вышло? Стыдоба! Сын, родной сын не вышел с батьком да с маткой к людям, за общий стол!..

Митрий разлил водку по стаканам.

— Брось-ко, Савельевич, не расстраивайся. Не тебя с Акулиной люди осудили... Давай-ко лучше выпьем! по глоточку!

— Не, Митрий. Не хочу. Что-то опять я ослаб. Здоровья-то, вишь, не стало... Да... Век бы не подумал, что жизнь так может переменить человека.

Под окнами прошел Василий Кирикович.

— Леший понеси-то! — выругался Митрий. — И поговорить в спокойе не успели.

Савельевич нахохлился и тупо уставился в стол.

— Принеси-ка удочки, отец! — бросил Василий Кирикович с порога.

— Возьми, Вася, сам, — слабым голосом ответил Савельевич. — Они там, в сарае...

— Ты бы, Кирикович, не удочки — топор поискал, — заметил Митрий. — Хоть бы крылечко починил...

Василий Кирикович метнул на старика раздраженный взгляд и вышел, хлопнув дверью.

— Зря, Митрий, встречаешь, — укоризненно сказал Савельевич. — Только расстроил его... Пусть бы он удил, раз охота...

Василий Кирикович медленно брел по берегу Кимярь. Он еще не успел как следует успокоиться после вечернего разговора с сыном, а тут опять этот старик Маркелов... Получается не отдых, а черт знает что!.. Он вдруг почувствовал себя настолько уставшим и ослабевшим, будто прожил в Лахте не полмесяца, а целый год, слепленный из одних неприятностей.

Василий Кирикович подошел к ивовому кусту, расстелил пиджак и лег в тени.

— Да, все это глупо, — вслух сказал он. — Глупо! Вообще не нужно было сюда приезжать...



...Не дождавшись сына к обеду, старики совсем расстроились.

— Ты бы сходила, поискала его,— сказал Савельевич, пряча от жены виноватый взгляд.— Ведь голодный ушел...

Акулина будто только этого и ждала. Она накинула на плечи платок и скоренько вышла из избы.

Сон Василия Кириковича был настолько глубок, что его не потревожило шарканье резиновых сапог в высокой траве. Старуха чуть не вскрикнула, увидев сына лежащим. Но ровное, с легким сопеньем дыхание, срывавшееся с полураскрытых губ Василия Кириковича, мгновенно успокоило ее. С умилением, на которое способны только матери, она склонилась над сыном.

Ничто не ускользнуло от ее взгляда — ни седые волосинки на висках, ни морщинки под глазами, ни даже крохотный шрамик над правой бровью — метка далекого озорного детства.

Но чем дольше смотрела Акулина на это румяное лицо, тем меньше находила в нем сходства с тем, кого свято хранила в сердце и памяти.

Глубокая лысина сделала лоб Василия Кириковича неузнаваемо высоким и покатым; то ли от полноты лица брови как-то раздвинулись и приподнялись внешними концами; прямей и тоньше стал нос. И уж совсем чужими выглядели губы — прямые, тонкие, с опущенными книзу углами.

Эти перемены и еще что-то неуловимое придало лицу Василия Кириковича пугающе чужое выражение. Мать осторожно ступила шаг назад и тихо-тихо удалилась, унося в сердце смутную тревогу.

36

Вечером, как только Герман подошел к березам, розово освещенным закатным солнцем, с крыльца маркеловского дома неслышно сбежала Катя. Она была в дымчатом, шитом в талию платье, с розовой косынкой на плечах и в невысоких сапожках.

— Правда, ведь быстро я управилась! — сказала она, а в глазах — радость.

Они прошли вдоль деревни и свернули на луг в сторону озера.

— В те дни, когда ты по вечерам шила, — сказал Герман, — мне в голову пришла одна блестящая идея... Я хотел уговорить тебя уехать отсюда.

— Уехать? — Глаза Кати удивленно расширились. — Куда?

— Куда тебе хочется. Ты же взрослая, самостоятельная, свободная. И я — тоже. Уехали бы на какую-нибудь комсомольскую стройку, стали вместе работать... Вот было бы здорово! И вечерами всегда вместе.

— Да, это было бы... интересно!

— А что, может, в самом деле поедем? Домой мне, между прочим, совсем не хочется возвращаться!

— Поедем. — Катя улыбнулась. — С тобой я хоть на край света! — Но взглянула на возбужденное лицо Германа и вдруг поняла: он говорит вполне серьезно.

И сказала: — Станный ты какой!.. Ну подумай сам, куда мы с тобой поедem? И зачем? Ты же совсем меня не знаешь, и мы с тобой — разные люди. Ты вырос в городе и жить будешь в городе, впереди у тебя — большой спорт, институт. А я что? Особых способностей нету, кроме деревни, ничего не видела, в институт мне не поступить — в аттестате половина троек. Да и не всем же в институтах учиться!

Что-то перевернулось в душе Германа. Он остановился.

— Знаешь, Катя... Все это не так. Я ведь не такой, как ты думаешь. Десятый я кончил еле-еле. И никаким спортом не занимаюсь.

— Ничего не понимаю!.. Ты же сам говорил...

— Помню. — Герман поморщился. — И медаль и фигурное катание я выдумал.

— Значит... соврал? Зачем?

— Наверно, чтобы казаться значительнее. Хотел, как у нас говорят, произвести впечатление... Мне самому теперь стыдно...

Катя молчала.

— Вот ты говоришь, что я не знаю тебя. Но ты же вся на виду, вся! Откровенная, прямая. А я таким никогда не был. Мне с детства внушали, что я одаренный, талантливый, и я верил, что всё кругом — для меня. Я капризничал, но мне всё прощали. Даже когда я чувствовал, что способности у меня средние, я продолжал верить, что я не такой, как остальные, я — выше. Только здесь я увидел, что люди могут жить иначе, чем мы. Я, конечно, знал, что люди живут по-разному: одни лучше, другие хуже, у одних — к примеру у нас — есть все, что угодно, а другие довольствуются самым малым. Но до приезда сюда я не представлял себе, что есть иные ценности, которые не измеряются деньгами! С этим я впервые столкнулся здесь и, кажется, за какие-то две недели лучше и полнее понял жизнь, чем за весь последний год.

Катя внимательно слушала Германа и чувствовала, что в душе его происходит какая-то перемена, непонятная ей, но, видимо, очень сложная и серьезная. Но она же не представляла себе образ жизни Германа и его семьи и потому не знала, что говорить и как отнестись



к услышанному. Она взяла Германа под руку и тихо сказала:

— Пойдем к озеру, на берег.

Как ни странно, но этот парень, сказавший столько плохого о себе, стал ей ближе. Хотелось успокоить его, заверить, что все будет хорошо: живут же люди и без большого спорта, и без институтов, а получить специальность еще не поздно — у человека в семнадцать лет вся жизнь впереди!

Они спустились на берег. Таяла вечерняя заря. Одна за другой вспыхивали звезды. Быстро темнело. Где-то за озером изредка подавали голос дикие гуси. Их отрывистые гортанные звуки вносили в тишину августовского вечера особенное умиротворенное спокойствие,



какое бывает где-то на грани между уходящим днем и наступающей ночью.

— Ты, по-моему, наговариваешь на себя, — мягко сказала Катя. — Ведь не такой уж ты плохой. Расскажи о себе, вспомни о чем-нибудь хорошем, веселом!

Никто и никогда не обращался к Герману с такой просьбой. В кругу его друзей каждый показывал себя как мог. О чем же рассказывать? О шумной вечеринке у приятеля? Или о том, как старался произвести впечатление и понравиться Розалии, которая носила седой парик и всегда была окружена поклонниками? Раньше это казалось интересным и значительным, а теперь...

— Мне нечего тебе рассказать, — вздохнул Гер-

ман.— Все, что представлялось мне хорошим, на самом деле совсем неинтересно.

На озере заплакала гагара. Голос птицы, очень похожий на человеческий, был тосклив и тягуч, со стонами и жуткими вскриками.

— Лучше уж ты расскажи что-нибудь, — после некоторого молчания сказал Герман.— Я уже спрашивал, но ты так и не сказала, куда думаешь устраиваться на работу.

— Но я же работаю! Целый месяц на сенокосе без выходных...

— Ну, это так, временно, пока на каникулах. А потом-то куда думаешь?

— Почему временно? С первого июля я — рабочая. И трудовая книжка на меня в совхозе выписана.

— Ты что, серьезно?

— Конечно.

— Вот это новость!.. — До сих пор Герман не сомневался, что Катя работает лишь потому, что у нее каникулы и есть возможность помочь отцу и матери заготовлять сено, а оказывается... — Значит, ты все время здесь и будешь жить?

— Нет, не здесь. Ведь совхоз-то наш в Хийм-ярй! Туда и уеду. Осенью обещали дать группу телят, тогда уж буду телятницей. — И, улыбнувшись, добавила: — Если, конечно, ты не увезешь меня на какую-нибудь стройку.

— Опять смеешься... А я ведь в самом деле уехал бы с тобой. Один я... не решусь. Я же ничего не умею делать! А с тобой...

— Интересно!.. Если в совхоз, то и со мной не желаешь?

Совхоз... Это понятие для Германа было настолько отдаленным и настолько лишенным какой бы то ни было романтики, что при последних словах Кати он растерялся. Стройка какой-нибудь электростанции, железной дороги, завода — это как-то ближе, понятнее. Туда многие едут. А совхоз?..

— Что ж ты молчишь? Ты же хотел ехать вместе со мной и сам предлагал мне решать, куда ехать. Вот я и предлагаю.

— Ты опять... шутишь?

— Конечно, шучу,— ответила она, хотя такое замешательство Германа задело ее.— Неважно, как ты там кончил десятый, а из дому тебя все равно никто не отпустит. Если не на учебу, то на работу устроят.

— На работу!.. Не знаешь ты моих отца и матери. Как бы я ни учился, а они меня все равно в институт затолкают. Сначала на подготовительные курсы, а с будущего года — в институт, чтобы обеспечить мне проторенную дорожку.

— Вот видишь!.. А начнешь учиться, и все у тебя пойдет по-старому.

— Нет, Катя. По-старому не пойдет.

— Это тебе сейчас так кажется. А вернешься в город, встретишься с друзьями, и самому не захочется никуда уезжать.

Герман молчал. Он даже не мог представить себе тот день, когда невозможно будет вот так, рука в руке, идти с Катей, ощущая ее близость, ловить взгляд ее глаз, слышать ее голос. И самое страшное, что там, в городе, никто с таким пониманием и сочувствием не выслушает его, потому что никому из старых друзей нет дела до его сомнений и настроений. Но и уехать из дому, порвать с городом было страшно: Герман не мог представить себя рабочим человеком.

— Ты о чем так задумался?— спросила Катя.

Герман молча обнял девушку за талию и вдруг испугался, что Катя отведет руку. Но она, не сбавляя шаг, неожиданно плотней прижалась к нему, будто ей было зябко. Тогда он обнял ее еще крепче. Рука ощутила упругий стан, и сердце бешено забилося.

— Плохо мне будет... Без тебя.

Они возвратились в деревню, когда стало совсем темно.

— Вот и мой дом. А твой — далеко, далеко! Так далеко, что никакая ниточка туда не дотянется — перервется...

Он не видел ее лица, но уловил в голосе грусть.

— Завтра ты поздно вернешься?

— Не знаю. Часам к пяти, наверное, не раньше.

— Я буду тебя ждать.

Она кивнула и осторожно высвободила свою руку.

Утром в сарай заглянула бабка Акулина.

— Вы спите, нет? — робко спросила она.

Василий Кирикович не пошевелился, а Герман приподнял с подушки голову.

— Что, бабушка?

— Люська маркеловская прибежала... Катька ихняя в Саргу едет, так ничего заказывать не будете?

— Сейчас! — Герман вскочил и стал быстро одеваться. — Мне сигарет надо.

Люська, длинноногая, в коротком выгоревшем платье, стояла у порога. Герман пошарил в кармане пиджака, вытащил пять рублей и подал их девочке.

— Передай Кате. Пусть купит десять пачек хороших сигарет и полкило конфет. Тоже хороших.

Люська взяла деньги, зажала их в кулаке, что-то спросила у бабки по-вепски и убежала. Герман подошел к окну. Катя, в синем спортивном костюме и красной вязаной шапочке, под которую была убрана коса, седлала возле дома рыжего мерина. Глядя на неторопливые движения девушки, Герман представил на мгновение Саргинскую дорогу с ее ручьями и болотами, длинную до бесконечности и с грустью подумал, что для Кати да и для всех Маркеловых проехать эту дорогу взад-вперед одним днем — такое же будничное дело, как сходить на покос.

На печи глухо и как-то страшно застонал дед. Герман вздрогнул и вопросительно посмотрел на бабуку.

— Дедушка-то опять захворал, — печально сказала она. — Всю ночь эдак стонал, — и подошла к печке. — Чего тебе, Киря? Может, молочка горяченького?

— Не... Покурить бы...

— Сейчас! — Герман прикурил сигарету и протянул ее, зажженную, деду.

— Спасибо, внучек...

Лицо старика за ночь неузнаваемо изменилось — пожелтело и будто опало; резче обозначились морщины и белизна седины.

— Может, записку послать в больницу? — встревожился Герман. — Врача-то, можно сюда вызвать?

— Ничего... не надо....— Дед закрыл глаза, помолчал, хрипло дыша.— Помру я...

— Что ты, дедушка?!— содрогнулся Герман.

Бабка бессильно опустила на табуретку и заплакала.

«Конечно, надо вызвать врача!» И Герман выбежал из избы.

Катя приторачивала к седлу пустые свернутые мешки.

— Как хорошо, что ты еще не уехала!.. Дедушка заболел.

— А что с ним?— встревожилась Катя.

— Не знаю. Пожелтел весь, стонет... Говорит, умру...

— Я зайду на медпункт. Обязательно! Как приеду, сразу же зайду!— Катя вскочила в седло и с места взяла вскачь.

Весь день в доме Тимошкиных было тревожно. Возле больного старика посменно дежурили бабка Акулина и Герман. Василий Кирикович, расстроенный и угрюмый, тоже не отлучался из дому даже на свои обязательные прогулки. Он то ходил взад-вперед по избе, то сидел на крылечке, решительно не зная, чем и как помочь своему отцу. В дорожной аптечке были, конечно, кое-какие медикаменты, но температура у старика оказалась нормальной, и Василий Кирикович не решился что-либо предпринять.

В обед к Тимошкиным забежала Нюра Маркелова. Живая, энергичная, она сразу же подошла к печке, положила свою руку на голову старика и сказала:

— Ты чего, Савельевич, хворать-то надумал, а?

— Ой, не могу, Нюра... Дышать нечем.

— Еще бы! Забрался под самый потолок. А печка вон какая горячая... Приготовька-ка, Матвеевна, кровать!

Акулина засуетилась, взбила подушку, откинула одеяло.

— Одни-то спустим ли? С этакой вышины...

— Не говори не дело!— махнула рукой Нюра.— Двое мужиков в избе... Лезь, парень, на полати,— сказала она Герману,— возьми дедка снизу за плечи и подвинь к краю, а ты Кирикович, за спину его поддержи.

Втроем они осторожно спустили старика с печи и перенесли на кровать.

— Теперь окошки откройте, — распоряжалась Нюра, — чтобы воздуху побольше было!

— Зря канителитесь... Помру...

— Нет уж, помереть не дадим. Рано еще! — Нюра взяла с лавки сумку, что принесла с собой, расстегнула ее. — Вот лекарства принесла. Медовая настойка на ландышевом цвету. Ну-ка, отпей! — Она приподняла голову старика и поднесла к его бескровным губам стакан с желтоватой прозрачной жидкостью. — Два глоточка. Больше не надо.

Савельевич не противился.

— Вот и ладно. Теперь бульончику попей. — Нюра вынула из сумки маленькую кастрюльку, сняла крышку. — Куриный. И не очень горячий — в самый раз. Дай, Матвеевна, ложку!

— Не хочу, Нюра... Ей-богу, не хочу! И не могу...

— И не можешь, а поешь! — Она взяла ложку, села на краешек кровати, кастрюльку поставила себе на колени. — Тут у меня один навар. Ты только рот открывай да глотай, всего и делов-то!

Нюра все-таки выпоила старику десяток ложек бульона и передала кастрюльку Акулине.

— Часа через два-три снова лекарства дай и покорми, — сказала она. — Если уснет, будить не надо, пускай спит, а хуже будет — позовите, я сегодня дома. — И Нюра ушла.

Василий Кирикович с беспокойством думал, что не было бы от настойки вреда, но высказывать свои опасения не стал, чтобы не расстраивать мать. Скоро Кирик Савельевич в самом деле уснул. Но и во сне стонал и дышал тяжело и прерывисто.

...В шестом часу вечера из Сарги возвратилась Катя. Закинув поводья на кол изгороди и не развьючивая лошадь, она сразу направилась к дому Тимошкиных; в руке ее был небольшой рюкзачок.

Герман понял: раз Катя приехала одна, значит, врача не будет.

— Как дедушка?

— Все так же. Сейчас спит. А что врач?

— В Сарге ведь нет врачей. Там фельдшер, Марина.

Я видела ее, но сегодня она никак не смогла. Обещала завтра приехать.

— Хоть завтра, и то хорошо бы.

— Возьми.— Катя протянула Герману рюкзачок.— Тут все, что заказывали.

— Спасибо!

— И еще...— Катя расстегнула «молнию» на кармашке куртки и вытащила бумажку.— Это тоже вам.

— Телеграмма?— Герман торопливо развернул телеграфный бланк и вслух прочитал: — «Срочно выезжайте Светланы несчастье...» — Он растерянно посмотрел на Катю, потом еще раз пробежал глазами текст телеграммы.

— Светлана — твоя сестра? — тихо спросила Катя.

— Да... Но что у нее могло случиться?.. Ай-я-яй!..

— Ну ладно. Я пойду... Что-то устала сегодня.

— Обожди! — Герман взял ее за руку.— Я опять выйду к березам... Придешь?

— Приду.— Она повернулась и пошла к своему дому.

38

Весть о том, что наавтра обещалась приехать фельдшер Марина, очень обрадовала бабуку.

— Ежели Маринушка приедет, она пособит! — уверенно сказала она.— В прошлом годе я хворала, дак Маринушка-то целую неделю в распутицу здесь жила, считай, с того света меня вызволила!..

А с передачей телеграммы отцу Герман не спешил. Он не знал, как лучше сделать это. Передать в присутствии бабушки? Но тревожная весть из дому будет для нее еще одним ударом после этой кратковременной радости. Выбрать момент и отдать наедине? Но Герман знал, что отец немедленно сообщит старушке содержание телеграммы и результат будет тот же. И все-таки он выбрал последнее. Улучив момент, когда Василий Кирикович сидел на крылечке, Герман подошел к нему, протянул телеграмму и негромко сказал:

— Только бабушке пока не говори.

— А? Что такое? — Василий Кирикович быстро взял телеграмму из рук сына, пробежал по ней глазами

и вскочил: — Этого я боялся больше всего! — испуганно воскликнул он. — Мы с тобой должны немедленно ехать!

— Но что там могло случиться? — Герману показалось, что отец если и не знает, то во всяком случае предполагает, что произошло дома.

— Потом, Гера, потом!.. Ах, как не вовремя!..

— Ты можешь мне сказать, что же все-таки случилось? — повторил Герман, уже уверенный в том, что отец понял смысл телеграммы.

— Будем собираться. У нас нет времени на разговоры. Утром — в дорогу! — И Василий Кирикович поспешил в избу, оставив сына в полном недоумении.

И вдруг Герман услышал, как отец громко сказал в избе:

— Мама, у нашей Светланы большая неприятность. Мы срочно должны уезжать!

Бабка лишь охнула в ответ.

«Неприятность, — вздрогнул Герман, — или несчастье?.. Разница огромная. Несчастье — это что-то непоправимое, страшное, а неприятность, даже и большая, — это, в сущности, пустяк по сравнению с несчастьем... Несчастье всегда приходит внезапно, а неприятность можно ожидать, предвидеть... «Этого я боялся больше всего!..» Значит, отец уже предвидел, что могло случиться дома? Если так, то никакого несчастья нет! Если бы Светлана болела или ждала ребенка, тогда бы можно было предположить всякое. Но она же была абсолютно здорова!..»

И вдруг Герман понял: у Светланы сорвалась защита. Точно! Ничего иного не произошло. Просто сестра не смогла защитить кандидатскую, вот и все несчастье.

Уверенный в том, что разгадал суть телеграммы, Герман поспешил в избу.

Сборы к отъезду были в разгаре. На полу стояли раскрытые чемоданы, на столе и лавках лежали свертки, одежда. Василий Кирикович хватал все это и торопливо рассовывал по чемоданам. Бабка сидела на кровати возле деда и пугающе отрешенно смотрела куда-то в угол.

— Какую рубашку наденешь в дорогу? — спросил отец.

— Никакую. И тебе незачем ехать. Пока дедушка не поправится, мы никуда не поедem.

Василий Кирикович непонимающе уставился на сына.

— Да, да. Никуда не поедem. Никакого несчастья не случилось. Просто Светланка завалила диссертацию, вот и все.

— Опомнись, Гера! Что ты городишь?! И разве ты не знаешь, что защита в конце августа?

Герман слегка смутился: действительно, до защиты еще далеко.

— Давай не тани время, помогай!.. Все это надо как-то уложить в чемоданы, чтобы без рюкзаков... Три места, не больше. Потом я схожу к Маркеловым и договорюсь насчет лошади.

— Да, но как же дедушка? Как мы его оставим?

— А что делать, если пришла такая телеграмма?

— Дай-ка еще раз на нее взглянуть!

— Я тебя не понимаю.— Василий Кирикович вытащил из кармана телеграмму и не глядя подал сыну.— Там же русским языком написано!

— Так... Цифры означают: номер, количество слов, число...— бормотал Герман, разглядывая бланк.— Ага, число... Ты знаешь, когда она подана?

— Какое это имеет значение?

— Очень большое. Она подана тридцатого июля. А сегодня четвертое августа.

— Тем более мы должны спешить!

— Да. Но если бы дома случилось что-то серьезное, за это время мама прислала бы еще одну. Помнишь, в Ялте было? Задержались на сутки — не достали билетов на самолет, и на другой же день нам «срочную» вручили. С уведомлением. И тогда прямо было написано: «Светлана тяжело больна».

— Оставь свои глупые рассуждения и в конце концов помоги мне!

Заворочался в постели, застонал Кирик Савельевич. Акулина тотчас склонилась над ним, увидела, что старик открыл глаза, и тихо спросила:

— Что, Кирюшка? Тяжко?..— И столько скорби и нежности было в ее голосе, что Герман невольно взглянул на бабу.

- Ох, тяжко!.. — простонал дед.
- Потерпи. А завтра Маринушка приедет!..
- Слышал я... Я все... слышал...
- Герман укоризненно посмотрел на отца.
- Мало... погостили.

Василий Кирикович отложил чемодан, подошел к старику.

— Так ты, значит, не спал?.. А у нас, видишь ли, такая неприятность!.. Мы бы очень хотели еще пожить, но что поделаешь, раз так случилось...

— Не надо, Вася... Поезжайте, с богом... Свиделись, и ладно. Мы ведь с маткой привыкли... Одни...

39

Катя знала, что Герману надо смотреть сети, и он, конечно, пойдет с Петром на озеро. Ей же хотелось побыть одной, и потому она отказалась идти с братом. После ужина Катя ушла в другую половину избы и прилегла на свою кровать. Герман вернется с озера часа через полтора, не раньше, и есть время подумать, попытаться разобраться в себе.

Телеграмма, привезенная Тимошкиным, не шла из головы. Что ни говори, а мало приятного доставлять людям такие вести. И вдвойне обидно, что телеграмма пришла именно теперь, не раньше и не позже. А лучше всего, если б ее вообще не было. Конечно, Тимошкины вряд ли уедут, пока старику не станет легче. Но все равно до их отъезда остались считанные дни.

Мысли прервались: Катя услышала, что в избу вошел Василий Кирикович. Она подумала, что, должно быть, старик почувствовал себя хуже, и невольно прислушалась к разговору за стеной. Но речь шла об отъезде. Неужели вот так сразу и уедут? И будто в ответ на эту мысль Василий Кирикович настойчиво повторил: «Нет, нет, только завтра утром. И чем раньше, тем лучше».

Решение Тимошкиных немедленно уехать неожиданно сильно взволновало Катю. Всего разговора она не слышала, но поняла, что отец сам согласился прово-

дить Василия Кириковича и Германа до Сарги. Он так и сказал: «В шесть утра буду готов».

— Завтра. В шесть утра...— прошептала Катя.— Вот и все...

Пытаясь успокоиться, она убеждала себя в том, что, в сущности, не велика разница, завтра уедет Герман или через неделю. Важно то, что он неизбежно уедет. И никогда не вернется. В последнем она не сомневалась. Может быть, он пришлет письмо, возможно даже и не одно. Но, как часто бывает, письма пойдут все реже, пока не придет последнее, прощальное... А то его и не будет, этого прощального. Просто перестанет писать, и на том все кончится. Это она знала сразу, когда еще говорила Герману, что они разные люди и что после того, как он вернется в город, все станет на свои места. Значит, чем раньше он уедет, тем лучше.

Но мысли эти не приносили успокоения. Наоборот, думать так было почему-то обидно и горько.

В комнату вошла мать. Она с беспокойствомглянула на дочь, спросила:

— Ты чего? Уж не заболела ли?

— Нет, мама. Просто хочется полежать.

— Так ведь тебя кавалер ждет! Под березой стоит.

Катя вспыхнула, вскочила.

— Разве он не ушел с Петькой?

— Видать, не ушел... Чего уж теперь идти, коли завтра уезжают... А ты хоть не вздумай так бежать, переоденься!— И мать вышла.

Катя и в самом деле хотела идти в спортивном костюме, но после слов матери решила надеть свою любимую розовую кофточку, в которой была в день рождения Петра, и черный шерстяной костюм. Надо было еще переплести косу, но на это ушло бы слишком много времени.

Герман был задумчив, смотрел растерянно и, как показалось, виновато.

— Давно ждешь?

— Нет.

— Я думала, ты ушел с Петькой...

— Мы с ним договорились, дедушкины сети он посмотрит.— Герман взял Катю за руку, и они медленно пошли вдоль деревни.

— Видишь, как получилось,— грустно сказала Катя.— Еще вчера ничего не знали, а завтра уже конец...

— Чему конец?

— Всему. Пока нашим свиданиям, а потом...

— Не надо, Катя... И вообще мне кажется, что эта телеграмма какая-то... ненастоящая, не серьезная.

— Не понимаю.

Герман высказал свои сомнения и то, каким путем пришел к такому заключению.

— Этого не может быть,— выслушав его, потрянула головой Катя.— Телеграммами не шутят.

— Понимаю. И, может, ошибаюсь. Но у меня такое ощущение, будто отец что-то знает, но не хочет говорить мне...— Он помолчал.— Куда пойдем? К озеру?

— Мне все равно. Или нет, давай лучше к мельнице!— И Катя свернула на проселок, по которому они шли в ильин день к Кольке и Люське, на пастбище.

— Эта дорога... несчастливая.

— Почему?— удивилась Катя.

— Разве забыла?.. Вот пойдем, и ты опять оставишь меня одного.

— Нет, не оставлю,— серьезно ответила она.

Долго шли молча. Герман старался не думать о том, что это их последний вечер, но все равно помимо его желания и воли думалось только об этом, и оттого было грустно. А Катя, наоборот, будто и забыла, что Герману завтра уезжать. Ей было непривычно идти по знакомому с детства проселку вот так, под руку с парнем.

Солнце стояло низко, и от леса на дорогу падала сплошная тень. В прохладном безветрии замерли деревья, и Кате казалось, что они — эти белые березы, густые елки и прозрачно-зеленые сосны — прислушиваются к их шагам и очень удивлены, что по забытому людьми проселку идут двое — он и она...

— Ты знаешь, куда мы можем прийти по этой дороге?— спросила Катя.

— Знаю. На мельницу.

— А еще?

Герман пожал плечами.

— Вот и не знаешь!.. Мы можем прийти... в клуб!

— В клуб?

— Да, в клуб. За мельницей, на горوشке, есть цер-

ковь. В ней и был клуб. И по этой дороге ходили в клуб мои мама и папа, когда были молодыми. А теперь мы идем... Ведь правда интересно?

— Интересно,— согласился Герман.

Впереди послышался шум, будто деревья зашелетели листвою.

— Это вода у мельницы,— сказала Катя.

Дорога пошла под уклон, и скоро из-за деревьев показалась тесовая крыша. Мельница стояла косо, и вода, бурля по камням, бежала из-под нижних зеленоватых бревен этого высокого темного строения с одним крошечным окошком и низкой, вросшей в землю дверью.

— Как... Бастилия!— покачал головой Герман.

— Точно!.. Когда Мишка да Петька лазили туда, внутрь, мне всегда делалось страшно. Все почему-то думала, что им оттуда не выбраться... А твоя бабушка рассказывала, что давно-давно на этой мельнице колдун жил.

— Настоящий?

— Да... Если, случалось, корова потеряется в лесу, то шли с подарками к этому колдуну, и он говорил, где искать.

— И находили?

— Бабушка говорит, находили. Потом здесь другие старики работали, так их тоже считали колдунами.

Катя провела Германа в обход мельницы к размытой плотине, показала половину каменного жернова и рассказала, как терпеливо сиживал с удочкой на этом камне Мишка, желая вытащить какого-то необыкновенного окуня.

— А в клуб пойдем?— спросила она.

— Конечно!

Строгие линии белой каменной церкви четко пропечатывались на фоне темнохвойных кладбищенских елей. Над ржавым куполом гомонили галки, а вокруг обезглавленной колокольни носились длиннокрылые верткие стрижи. Дверь была открыта, и они вошли внутрь. На полу толстый слой пыли, жухлые листья, хвоя, занесенные ветром сквозь высокие решетчатые окна.

Шаги гулко отзывались в темных углах и под свод-

чатым потолком. Вдоль стен все еще стояли широкие прочные скамьи, а на клиросе, превращенном в сцену, валялись то ли газеты, то ли обрывки обоев. Остановились посреди пола и долго оглядывали саженной толщины стены, исцарапанные наивными и пустыми надписями каких-то туристов.

— Вот здесь и гуляла молодежь,— сказала Катя.

— Интересно!.. Сначала церковь, потом клуб. Здесь танцы, а за стеной — кладбище...

— Ага... Мама рассказывала, как в сорок пятом году, в последнее воскресенье мая, здесь кадрили плясали. Гармонистом какой-то парнишка был, может, не больше нашего Кольки. Играть не может, пилит помаленьку, но все-таки веселее — музыка! А они, девчонки, да еще три или четыре паренька пляшут. И вдруг, говорит мама, заходит в клуб высокий красивый парень в военной форме. Вся грудь в медалях, на плече вещмешок висит, шинель на руке, а сапоги пыльные-пыльные! Постоял на пороге, поглядел — и к гармонисту. Тот догадался и сразу ему гармошку подал. И вот этот парень заиграл!.. По-настоящему, с переборами, звонко так, аж гармошку рвет! А у самого на глазах слезы... Через полчаса полный клуб народу собрался — в деревне-то слышно было, что кто-то нашу кимьярскую кадрили по-настоящему играет, ну и прибежали — одни поплясать, другие посмотреть. — Катя повернула голову и заглянула Герману в глаза. — А знаешь, кто это был?

— Кто?

— Мой папа. Он с войны возвращался, вот и не утерпел. До дому еще не дошел, а в клуб привернул.

— Вот как!.. А разве твоя мама не знала его раньше?

— Нет. Вернее, знала, но ведь она на семь лет папы моложе. Ей всего четырнадцать было, когда война началась. Да и папа сильно за те годы изменился... Его в тот вечер до самого дому девчонки да парни провожали. Так и шли с песнями под гармошку. И мама шла. Девчонок красивых много было, а папа почему-то только ее заприметил, и через две недели у них уже свадьба была...

Слушая Катю, Герман с каким-то удивлением поду-

мал, что сам совершенно не знает, когда и как познакомились и поженились его отец и мать.

— А ты умеешь плясать кадрили? — спросил он.

— Нет. Даже ни разу не видела, как ее пляшут...

Они вышли из клуба, и Катя повела Германа через кладбище. В густой и влажной тени елей, в глухой дремотной тишине, как веки прошлого, серели кресты. В молчании прошли на окраину и там, возле деревянной крашеной оградки, Катя остановилась. Оградка была большая, хотя внутри ее был всего один могильный холмик, украшенный увядшими уже цветами.

— Здесь похоронена моя бабушка — папина мама, — тихо сказала Катя. — Но я не помню ее. Она умерла, когда мне было три года.

— А почему оградка такая... большая? — спросил Герман.

— Это дедушка так сделал. Сказал, что когда умрет, чтобы рядом похоронили...

С кладбища они шли по какой-то узенькой тропинке, и Катя рассказывала про нелегкое детство своей матери, которая выросла без отца и еще девчонкой всю войну работала на лошадях наравне со взрослыми. И Герман опять подумал, что о детстве своих ни отца, ни матери он ничего не мог бы рассказать.

Тропинка вывела их в маленькую деревушку, в которой было всего три дома. Катя остановилась возле низенькой избушки с маленькими оконцами и сказала:

— В этом домике и родилась моя мама. Отец ее, мой дедушка, с гражданской раненый вернулся и пожил совсем недолго, а бабушка — мамина мама — здесь и жила до переселения со своим сыном, с моим дядей, значит.

— А где они теперь?

— В Хийм-ярэ уехали. Как и все. Там и живут.

В этот вечер Катя многое показала и рассказала Герману. Он бродил с нею по заросшим тропинкам, ощущал ее близость и каким-то внутренним чутьем угадывал, что ей тоже хорошо. И чем больше он слушал ее, тем она полнее раскрывалась перед ним в каком-то новом свете и становилась еще понятнее и ближе.

Он забыл и о телеграмме, и о больном старике, и даже о том, что завтра уезжать. И только когда они

возвратились в деревню, он все вспомнил и подумал, что о чем-то большом и важном они так и не успели переговорить. Но что это большое и важное, Герман и сам толком не знал, кроме того, что это нелепо и несправедливо — вот сейчас вдруг расстаться, а завтра уехать.

То же самое испытывала и Катя. Лишь когда они остановились под березами, она до конца осознала, что это была последняя встреча, последние часы, проведенные вместе. И ей стало невыразимо больно, что она растратила время на какие-то разговоры о детстве, о мельнице, о колдунах и даже не спросила — что все-таки будет делать Герман, когда вернется в город. А ведь он завтра уедет. Не завтра — через каких-то семь часов!.. Она прислонилась плечом к березе.

— Так что же мне делать, Катя? — чуть слышно спросил Герман.

— Не знаю... — так же тихо, одними губами, ответила она.

— Я не смогу без тебя...

Она молчала.

— Не веришь?

— Верю... А что делать?

— Вот и я спрашиваю... Может, пока не уезжать? Ведь и дедушка болеет...

«Пока!..» Да разве в этом дело?! И она ответила:

— Уезжай.

— Ты не хочешь, чтобы я задержался?

«Ну зачем он спрашивает? Неужели сам не понимает, что уехать придется! А если задержится, то расставаться будет еще тяжелей».

— Иди, — сказала она. — Уже поздно. А тебе рано вставать.

— Но ты не ответила на мой вопрос...

— А что изменится, если ты останешься здесь на несколько дней? Ты же все равно уедешь! Навсегда. Так уж лучше... сразу.

Герману хотелось сказать, не сказать — крикнуть: «Я вернусь!» — но что-то удержало его от этого. Он обнял девушку за плечи, привлек к себе. Она не сопротивлялась... Это был первый поцелуй в ее жизни.

— Все. Иди. — Катя легонько оттолкнула Германа.



Он ступил шаг назад, а она осталась стоять, при-
слонившись к березе.

— Завтра ты не проводишь меня?

— Нет.— И, помолчав, добавила: — Но я выйду на
улицу, когда вы будете уезжать.

— Хорошо. Тогда — до завтра!..

Она не ответила — или он не расслышал? А лица в
темноте не было видно.

40

Лампа светила еле-еле, и в избе было полутемно, но
едва Герман переступил порог, бабка Акулина подня-
лась с кровати, прошла к столу и вывернула фитиль.
Герман увидел, что дед не спит, и склонился над ним.

— Ну как, дедушка? Не легче?

— А вроде... отпустило. Полегчало маленько, по-
легчало... Видать, помогло Нюркино-то лекарство...

— Вот и хорошо!

— Ты садись...— И дед шевельнул рукой, пригла-
шая внука сесть на краешек кровати.

Герман сел.

— Дай мне еще твою папиросинку!..

— Не надо бы тебе курить, дедушка.

— А, все равно!..— Он принял от внука зажжен-
ную сигарету, несколько раз затянулся, спросил: —
В новое-то лето не приедешь?

— Приеду. Может, и раньше приеду. Понравилось
мне у вас. Очень понравилось!..

— Ну и слава богу...

— С Петром я договорился. Сетки пускай стоят.
Пока он смотреть будет, а потом дедушка Митрий.

— Это ладно. Без рыбы не живали... Своей-то не
было... А так Иванко дает рыбу, сколь надо. И не
только рыбу. Мы с бабкой, считай, за его спиной и
живем...

Акулина накрыла к ужину стол, подвинула табу-
ретку поближе к кровати и села.

— Ты уж нам письмо-то пошли,— сказала она,—
как доедете, как там Светушка, что у ей было... Батьке-

то, может, недосуг писать будет, а ты уж не поленися, напиши.

— Обязательно!.. Вы скажите, чего вам послать надо, так мы пошлем.

— Об этом дак и не заикайся! Нечего нам посылать. Деньги у нас есть, чего понадобится, Маркелы привезут. Об нас так и не думай, лишь бы у вас-то все ладом было. — Бабка понизила голос до полупшепота: — Батько-то ведь осердился на тебя, видел, как ты с Катюшей по деревне пошел. Дак ты ему скажи, что эдакую невесту еще поискать!.. Я уж ничего не сказала, а умом так и подумала...

Герман улыбнулся.

— Пускай сердится!..

— И правда,— кивнула бабка.— Была бы девка ленивая да гулящая какая, тогда бы и мы с дедком сказали — неладно, внучек, делаешь. А за Катюку чего оговаривать?.. Маркеловский род — вот и дедко скажет — на все здешнее сузёмье спокон веку в хорошей славе был, хоть невестами, хоть работниками.

— Крепкий род,— подтвердил старик.— Работящий.

Бабка вдруг спохватилась, что ужин-то стынет. Она вскочила и потянула внука к столу.

— Ну-ко, иди поешь сначала, пока все горячее! А потом уж и поговорим. В последний-то вечерок...

В это же самое время в глубоком раздумье пребывал, лежа в своей постели, Василий Кирикович. Он искренне сожалел о поездке в деревню, которая теперь, когда он оглядывался назад, представлялась ему затеей, лишенной всякого здравого смысла. Мало того, что своим приездом нарушил привычную жизнь стариков, но и сам толком не отдохнул. А сын — тот и вовсе отбилсЯ от рук, дошел до того, что дал увлечь себя деревенской девчонке, у которой нет решительно никаких порядочных перспектив на будущее.

Но все это, рассуждал Василий Кирикович, в конце концов не столь важно и все со временем утрясется. Несравненно страшнее то, что случилось там, дома. У Светланы очередной конфликт с мужем. И дело, видимо, зашло далеко, раз подали такую телеграмму.

Теперь Василий Кирикович ругал себя за опромет-

чивость. Ведь собираясь в деревню, он, отец, прежде всего должен был подумать именно о возможности таких осложнений. Пусть Светлана уверяла его, что отношения с мужем вполне нормальные, все равно он обязан был предвидеть такое. Когда муж вдвое старше жены да еще ревнив по своей натуре, конфликт может вспыхнуть в любой момент.

Зятя, профессора медицины Михаила Ефимовича Стружко, Василий Кирикович в душе недолюбливал — сухой до черствости человек, да и что ни говори — стар для Светланы. Но он знал: своей кандидатской диссертацией Светлана прежде всего обязана ему, своему мужу. И он благоговел перед Михаилом Ефимовичем, в любых, даже самых мелких конфликтах безоговорочно вставал на его сторону, а потом подолгу, с глазу на глаз, увещевал дочь сдерживать свой вспыльчивый характер, меньше проявлять капризов. «Когда получишь кандидатскую, тогда смотри сама, — говорил он. — Мы с матерью вмешиваться не будем. А пока надо потерпеть». Но, видно, Светлана не вняла тем советам...

Особенно Василия Кириковича тревожило, что с момента подачи телеграммы прошло уже пять суток. Не слишком ли поздно придет он на помощь? А если поздно? Если уже ничего нельзя поправить? Тогда все полетит к черту, разрушится семья, даже может провалиться защита... Последнее больше всего пугало Василия Кириковича. Это был бы такой удар, последствия которого просто невозможно предвидеть. Он отразился бы не только на всей карьере Светланы, но и на будущем Германа...

Когда бабка Акулина разбудила Василия Кириковича, ему показалось, что он только-только уснул. Но часы показывали половину шестого...

— А что, разве Герман не приходил? — испуганно спросил Василий Кирикович, увидев, что постель сына заправлена.

— Он в избе спал...

— А-а... От него теперь я могу ожидать любых фокусов.

На столе уже шумел самовар, и все было готово для завтрака. Справившись у отца о здоровье, Василий Ки-

рикович побрякал в углу рукомыником, потом осмотрелся, не забыли ли чего, и сел за стол.

— Завтракай поплотней,— сказал он сыну.— Пойдем быстро, без остановок.

— Ну, ну,— усмехнулся Герман.— Посмотрим.

— И нечего смотреть. Не позднее трех мы должны быть в Сарге. В пять — в Чудрине. И тогда мы успеем к девяти вечера на станцию, к скорому поезду. Он отходит в двадцать один час сорок минут.

— Успеете!..— кивнула бабка.— К дому дорога всегда короче.

— Да!..— что-то вспомнил Василий Кирикович и обернулся к матери.— В пути я договорюсь с Иваном Дмитричем насчет ремонта дома. Надеюсь, договорюсь...

— Какого дома?— не поняла бабка.

— Этого. Вашего дома. Чтобы крышу перекрыл и вообще к зиме подготовил. А денег на ремонт pošлю вам сразу, как приедем.

— Брось, Васенька, ничего не надо. Ты уж там свои дела устраивай, со Светланушкой, а об нас не заботься. У нас-то все ладно будет...

— Фельдшер, эта... как ее... Забыл. Неважно!.. Если она попадет нам навстречу, я и с ней поговорю, чтобы всем, чем возможно, помогла отцу.

— А чего говорить? Маринушка сама все знает.

— Знает или не знает. главное — было бы чем лечить. А медикаментов я могу выслать любых, какие только потребуются.

— И лекарства у ее есть. Всех здешних стариков она лечит.— Акулина привстала, глянула в окно.— Иванко уж запрягает.— Она вздохнула.

Герман вышел из-за стола, спросил у отца:

— В шкафу сигареты были. И еще конфеты. Не помнишь, куда положил?

— По-моему, в коричневый чемодан. Я думал, ты их с собой берешь.

— Я и в дороге куплю.— Герман покопался в чемодане, вынул два свертка и подал бабке.— Все-таки полегче махорки. А с конфетами чаю попьете...

Прощание с дедом было коротким. Василий Кирикович стал было извиняться за столь поспешный отъезд и обещать будущим летом снова приехать, если удаст-

ся выкроить недельку времени, но старик перебил его:

— Не тани, Вася, время... Вам спешить надо. Дорога дальняя. Поезжайте с богом!.. Не обессудь нас, ежели что не так было...

А Герман почти до утра проговорил с дедом и бабушкой, и теперь не было надобности в лишних словах. Он склонился над стариком, легонечко прижался щекой к его седой бороде, потом осторожно пожал слабую руку деда.

— Ты только поправляйся!.. А я — приеду.

По старому обычаю, соседи всей семьей вышли из дома. На пороге маркеловской избы сидел Митрий. Сквозь клубы махорочного дыма он равнодушно смотрел, как сын тщательно увязывает на волокушах поклажу. Нюра стояла у крыльца, скрестив на груди руки, а возле нее — притихшие Колька и Люська. Несколько в сторонке, прислонившись спинами к изгороди, молчаливо стояли рядышком Петр и Катя. Катя была в том же костюме, что и вечером, и внешне казалась совершенно спокойной.

— Ну чего, поехали? — сказал Иван.

— Да, да, поехали! — ответил Василий Кирикович.

Нужно было подойти к Митрию Маркелову, потом к Нюре и так, по старшинству, проститься со всеми за руку. Но Василий Кирикович или забыл обычай или не считал нужным следовать ему. Он лишь чуть приподнял шляпу и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Счастливо оставаться!..

Герман же хорошо помнил наказ деда: «Простись с соседями как положено», — и шагнул к Митрию. Старик тотчас поднялся и с низким поклоном пожал руку Германа. Нюра тоже поклонилась и сказала:

— Счастливой вам дороги!

И Герман вдруг почувствовал, что ее ладонь такая же широкая и мозолистая, как у Кати.

— Ну, давай! — сказал Петр и, как всегда, быстро и сильно сдал руку. — До будущего лета!

А Катя не сказала ни слова. Зардевшись, она чуть прикусила нижнюю губу и опустила глаза.

— Я... приеду, — шепнул Герман, и по тому, как она еще ниже склонила голову, понял: услышала.

Колька и Люська уже сами подошли к Герману.

Девочка была задумчива и заметно смущена, зато Колька улыбался.

— А ты так и не посмотрел мою удочку!— с сожалением сказал он.

— Все впереди!— стараясь казаться веселым, подмигнул ему Герман.

Шагов через десять он обернулся. Все Маркеловы стояли возле крыльца. Нюра махнула ему рукой, и он тоже поднял руку, отыскивая глазами Катю. Но ее уже не было на улице...

Бабка Акулина проводила сына и внука до ручья Киви-оя. Она не плакала в голос, но и не утирала слез, которые обильно текли по ее щекам. Поцеловав Василия Кириковича, потом Германа, она сказала:

— Дай, господи, вам легкой дороги!..— и поклонилась.

Пока поднимались на гору Кюндл-мяги, Герман оглянулся несколько раз. Бабка все стояла на берегу ручья и махала рукой. И он махал ей, не подозревая, что слезы вовсе застлали старушке глаза и она настолько расплывчато видит удаляющиеся фигуры, что и разобрать не может, кто где идет...



К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для старшего возраста

Анатолий Васильевич Петухов

ЛЮДИ СУЗЁМЬЯ

Ответственный редактор *С. Н. Боярская*.
Художественный редактор *А. Е. Цветков*.
Технический редактор *Г. Е. Гафт*. Коррек-
торы *Э. Н. Сизова* и *Е. А. Флорова*.
Сдано в набор 19/V 1975 г. Подписано к
печати 20/VIII 1975 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Бум. типогр. № 2. Печ. л. 6,5. Усл. печ. л.
10,92. Уч.-изд. л. 10,52. Тираж 75 000 экз.
А03945. Цена 45 коп. Ордена Трудового
Красного Знамени издательство «Детская
литература». Москва, Центр, М. Черкас-
ский пер., 1. Ордена Трудового Красного
Знамени фабрика «Детская книга» № 1
Росглавполиграфпрома Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по
делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. Москва, Суцевский вал, 49.